

Сергей ЮДИН

ДЕМОНЫ АМАСТРИАНА

*Нет больше той любви, как если кто
положит гушу свою за грузей своих.*

Иоанн. XV. 13

Введение

Судьба повести, перевод которой мы предлагаем вниманию читателя, является в некотором роде уникальной.

Прежде всего, она дошла до нас в единственном списке, и, более того, в известной нам средневековой византийской литературе отсутствуют даже упоминания об этом сочинении, хотя имя его предполагаемого автора нельзя назвать вовсе безызвестным. Во-вторых, отсутствуют достоверные сведения о нынешнем местонахождении самого оригинального списка. В-третьих, до настоящего времени остается открытым вопрос, имеем ли мы дело с художественным произведением или перед нами нечто вроде автобиографических записок, своего рода исповеди.

Однако расскажем все по порядку.

Рукопись, содержащая сочинение под условным названием «Повесть Феофила Мелиссина», была куплена в 1808 году на Афоне в одном из скитов русского Пантелеимонова монастыря (вместе с несколькими другими, до нас не дошедшими) по поручению богатого костромского купца Федора Ивановича Юдина; в том же году привезена в г. Чухлому и передана в качестве вклада в Авраамиев Городецкий монастырь, ктитором коего Ф.И. Юдин на тот момент являлся. До пятидесятых годов XIX века рукопись хранилась в ризнице храма Покрова Пресвятой Богородицы (о чем свидетельствуют датированные пометы на верхнем поле л. 118). В ходе значительных перестроек, которым монастырь подвергся в 1843-1857 годах, рукопись, судя по всему, изымается из частично разобранного Покровского собора и передается на временное хранение в городскую управу, после чего следы ее на долгое время теряются. Только в 1901 г. она обнаруживается в книжном собрании красноярского золотопромышленника, виноторговца и библиофила Геннадия Васильевича Юдина (прямого потомка первоначального ее владельца — Ф.И. Юдина).

После революционных волнений 1905-1906 гг. коммерческие дела Г.В. Юдина серьезно расстраиваются, и состарившийся, совершенно одинокий библиофил вынужден распродавать свое имущество: за бесценок уходят Ачинский винокуренный завод, золотые прииски, доходит очередь и до главного сокровища — огромной библиотеки, насчитывавшей около восьмидесяти тысяч томов и ста тысяч редчайших рукописей.

Вначале он предлагает приобрести уникальное собрание российскому правительству. Но, получив решительный отказ, идет на непатриотический шаг и продает книги и рукописи американскому президенту. Так, в 1907 году, представитель Теодора Рузвельта по дешевке, всего за сорок тысяч рублей, купил библиотеку, которой

не было цены. Ныне это собрание, к сожалению, составляет костяк Славянского отдела Библиотеки Конгресса США.

Не подлежит сомнению, что рукопись «Повести Феофила Мелиссина» и по сей день находится там. Во всяком случае, именно в Библиотеке Конгресса с ней имел случай ознакомиться профессор Висконсинского университета А.А. Васильев, о чем свидетельствует его статья, появившаяся в *Dumbarton Oaks Papers* в 1944 г.

К несчастью, попытка заказать копию хранящегося в США манускрипта окончилась неудачей (был получен стандартный ответ: «вне библиотеки не выдается»). Когда же автор сих строк, будучи лет пятнадцать назад в Вашингтоне, попробовал получить оригинал рукописи непосредственно в Библиотеке Конгресса, то и здесь его по ряду причин (о которых вряд ли стоит распространяться в рамках настоящего издания) постигло досадное фиаско. Так что, как уже было упомянуто, точное местонахождение оригинального текста до сей поры вызывает вопросы.

Наше знакомство с «Повестью» стало возможным благодаря случайности: в 1901 г. работавший в библиотеке Юдина (а последняя была открыта владельцем для посетителей) видный русский византолог Афанасий Иванович Пападопуло-Керамевс обратил внимание на греческий фолиант и сделал его фототипические оттиски. Выполненный им перевод, снимки и сами стеклянные клише хранились первоначально в Императорском Казанском университете, где ученый в 1903 г. читал доклад, посвященный обнаруженной им рукописи, а в 1922 г. оказались в распоряжении Русско-Византийской комиссии, возглавляемой академиком П.Г. Виноградовым. Запланированная на 1927 г. публикация памятника в «Византийском временнике» не состоялась, ввиду ликвидации в том же году самого издания. Все материалы, относящиеся к открытой А.И. Пападопуло-Керамевсом «Повести», были переданы в Рукописный отдел Государственного исторического музея, где, в конце концов, нам и удалось с ними ознакомиться.

Выше уже было отмечено, что «Повесть Феофила Мелиссина» дошла до нас в единственном списке. Это не является, впрочем, чем-то исключительным для сохранившихся до наших дней произведений византийских авторов: так, в единственном списке известен труд Константина Багрянородного «Об управлении империей», сочинение Кекавмена и ряд других. Характерен тот факт, что большинство из этих произведений носило прикладной характер и не предназначалось для широкой публики, адресатом их было обыкновенно какой-то конкретный человек (наследник престола Роман — в примере с Константином VII) или узкий круг доверенных лиц. Казалось бы, это с определенной долей уверенности можно отнести и к случаю с повестью Феофила. В то же время, против подобного предположения свидетельствуют характер и само содержание повествования, явно сближающие оное с произведениями чисто художественного жанра.

Судя по сделанному приват-доцентом Пападопуло-Керамевсом описанию, рукопись представляла собой конволют, состоящий из двух частей, переплетенных в одном фолианте. Сам фолиант заключен в кожаный переплет XIX в., которым монахи Авраамиевой обители заменили прежний, пришедший, по-видимому, в негодность. Помещение под одной обложкой нескольких, зачастую не связанных между собой произведений, опять-таки не такая уж редкость для византийского книжного наследия. Примечательно иное: в нашем случае манускрипт, вероятнее всего, был *намеренно* спрятан в недрах другой рукописи. Не характерным для известных рукописных сводов является уже само расположение текстов: первая часть конволюта (лл. 1-59) содержала начало довольно широко распространенного в византийской агиографии VIII-IX вв. «Жития Давида Солунского»; окончание «Жития» приходится на лл. 103-118 конволюта, а на лл. 60-102 (т.е. в середине фолианта) помещено собственно сочинение Феофила. Кроме того, в рукописи (насколько можно судить по фототипическим оттискам) прослеживается рука не менее трех писцов. Бесспорно, что двое из них (перу которых принадлежит список «Жития Давида Солунского») работали одновременно и в согласии, так как в ряде случаев продолжают друг друга с середины страницы. Весь же текст «Повести Феофила» выполнен одним почерком, характерным для монастырских рукописей первой половины IX века. Принадлежит ли разбивка текста на главы-параграфы самому автору или является результатом позднейшей работы писцов — неизвестно. Заголовок придуман Пападопуло-Керамевсом, ибо в рукописи отсутствует.

Время действия повести (как следует из ее содержания) — конец VIII — первая половина IX веков. Основные же описанные в ней события (гл. I-V) приходятся на период правления последних представителей Исаурийской династии — не в меру властолюбивой императрицы Ирины и несчастного сына ее, Константина VI.

Что касается автора повествования, то можно лишь гадать, является ли таковым сам исторический Феофил Мелиссин, преемник знаменитого Феодора Студита на

посту настоятеля одного из известнейших столичных монастырей, или неведомый сочинитель IX века.

При этом мы полностью отдаем себе отчет в том, что, не имея в распоряжении оригинала манускрипта, не можем делать окончательных выводов ни о его действительном происхождении, ни о степени достоверности изложенных в нем событий и вынуждены ограничиваться предположениями. «Повесть Феофила Мелиссина» продолжает хранить множество загадок, тайн и еще ждет своего кропотливого исследователя.

Мы же ставим перед собой иную задачу: цель настоящей публикации состоит, прежде всего, в привлечении внимания научного сообщества к этому поистине уникальному и незаслуженно забытому памятнику византийской письменности и культуры, а равно в удовлетворении любознательности всех, интересующихся историей Византии.

И последнее, что следует сообщить: предлагаемый перевод выполнен А.И. Пападопуло-Керамевсом и лишь слегка исправлен нами в части написания некоторых личных имен, географических названий, этнических и специальных терминов. Принимая во внимание, что русский язык отнюдь не являлся для уважаемого приват-доцента родным, просим читателя со всем возможным снисхождением отнестись к нижеследующему тексту.

ПОВЕСТЬ ФЕОФИЛА МЕЛИССИНА, игумена Студийской обители во граде Константина

I

Жажду я изложить перед вами, о возлюбленные, жизнь весьма не богоугодную и деяния совсем не безупречные отнюдь не достойного мужа. Прошу вас, внемлите тому, что я буду говорить, ибо, хотя предмет сей и не источает мед, благоухание и дивную радость, но, напротив, — серу, смрад и горечь едкую, однако же послужит он на пользу всякому, кто желает утвердиться на стезе добродетели.

Посему приготовьтесь, о великодушные, выслушать этот рассказ о жалкой жизни и чудесном преображении раба Божьего Феофила, дабы и я сумел преодолеть немощь телесную и душевную и с большим желанием приступил к труду своему.

Родился я в царствование блаженнейшей и христолюбивой августы Ирины, истинной последовательницы Христа, что правила совместно с сыном своим, императором Константином.

Появиться на свет мне посчастливилось в семействе благородного звания: отец мой, Георгий из рода Мелиссинов, был почтен еще императором Львом Хазаром саном протоспафария, а затем назначен друнгарием двенадцати островов; мать же, именем Евдокия, происходила из славного града Амастрида, что в феме Пафлагония.

Едва выйдя из отроческого возраста и закончив изучать грамматику и поэмы Гомера, я был отдан в школу к ипату Панкратию, известному в Константинополе ритору и философу. Увы! Учение не пошло мне впрок, ибо, хотя и был я весьма смышлен и к наукам пригоден, само же обучение мне было не только легко, но и сладостно, и занятия я предпочитал всем играм, однако уже в те юные годы стали проявляться мои пагубные пристрастия.

Чрезмерно увлекшись эллинской премудростью, я совершенно не интересовался изучением Слова и Закона Божьего, пренебрегая спасением своей души ради пагубных домыслов языческой философии.

Первоначально обратившись к Аристотелю, Платону и их комментаторам, вскоре я уже штудировал Плотина, Порфирия, Ямвлиха и казавшегося мне бесподобным Прокла. Дионисий Галикарнасский, Гермоген и Олимпиодор всецело занимали мои мысли днем, а по ночам я не менее рьяно набрасывался на какого-нибудь Парменида, Анагаскора или Фалеса.

Увы мне! Не понимая скудным разумом своим, что невозможно смертному постичь величавые замыслы Творца, тщился я в книгах отыскать тайны мироздания.

Все дальше и дальше, прямиком к гибели влекла меня излишняя любознательность. Предметы недоступные для понимания человека чрезвычайно волновали меня: круговое движение земного шара не позволяло мне успокоиться, но заставляло изыскивать, что такое движение, откуда началось, какова природа одного шара, каковы круги, как они наложены, как разделены, что такое углы, равенство, эклиптики, произошла ли Вселенная из огня или чего-нибудь другого.

Привлекала меня также логика, и я исследовал, как из ума исходят мнения, из мнений непосредственно предложения, что такое аналогия и вероятность, соизмеримое и несоизмеримое. Особенно не давала мне покоя первая и невещественная сущность Вселенной; я удивлялся её отношению ко всем вещам и всех вещей к ней, предельного к беспредельному, каким образом из этих двух элементов вышло остальное, каким образом идея, душа и естество сводятся к числам.

Наконец, в греховной гордыне не избежал я и опасных таинств магов и халдеев. Движение светил, их скрытый смысл и влияние на судьбы людей стали занимать меня, а еще больше познание вещей сокрытых: что такое Провидение и Судьба, что есть неподвижное, что само себя двигающее, имеется ли у человека психея-душа, а коли имеется, то каковы ее свойства, обладает ли она разумом и бессмертной сущностью или столь же бrenна, как и само тело, какова ее связь с этим телом и где она блуждает во время сна, который Гомер и Гесиод называли братом Смерти.

Ночи я проводил не в молитвенном бдении и не в чтении Псалтыри, но склонившись над трудами Артемидора Эфесского, изучая его зловеющий *Oneirokritikon* и сиюсь отыскать смысл в бессмысленном, а священное в кощунственном.

Немало времени потратил я и на составление гороскопов, устанавливая точку эклиптики над горизонтом, деля небесную сферу на двенадцать домов, фиксируя положение главных планет по отношению к ним и промеж собой.

Так-то бежали годы моей учебы и ни о чем ином, кроме означенных предметов, я не помышлял, как вдруг все в одночасье изменилось и рухнуло.

В то время государь наш император Константин затеял большой военный поход в Болгарию, намереваясь отомстить тамошнему хану Телеригу за разбойные набеги, которые он постоянно творил, далеко вторгаясь в пределы Ромейской державы.

Подступив к Маркеллам, где уже ожидал его Телериг, император решился принять бой, несмотря на предостережения моего учителя ипата Панкратия, бывшего с ним для совета.

И вот случилось неизбежное: войско ромеев было разбито, а сам автократ как беглец возвратился в город, потеряв многих не только из простых воинов, но и из людей правительственных.

Мало того, что от мечей варваров погиб знаменитый стратиг Михаил Лаханодракон — надежда Ромейской империи, злосчастной судьбе было угодно, чтобы в том же сражении пали и мой отец — Георгий Мелиссин, и престарелый философ Панкратий.

Так, в одночасье лишился я и любезного родителя своего, и мудрого наставника.

Спустя короткое время, не вынеся постигшей ее утраты, скончалась и моя бедная мать.

Оставшись в свои неполных двадцать лет один на этом свете, стал я думать, на что направить собственные жизненные устремления и где употребить приобретенные знания.

Желая принести пользу отечеству и престолу, я подал прошение на высочайшее имя о назначении меня мистиком при императоре, но все секретарские должности были заняты людьми сановными, за меня же некому было походатайствовать и замолвить слово ни пред августой, ни пред ее державным сыном.

Пытался я служить и писцом-асикритом в императорской канцелярии, но должность эта, хотя и могла способствовать моему восхождению по сановой лестнице, и я даже мог через несколько лет, по своей учености, ожидать назначения на пост фемного судьи, однако оказалась для меня чересчур кропотлива, скучна и утомительна, так что в скором времени я уже старался сколь можно чаще избегать своих обязанностей, а после и совсем поручил исполнение их нанятому мною для такого случая за половинную плату бродячему грамматнику и каллиграфу из Пергама.

Разочаровавшись таковым образом в государственной службе, имел я несчастье познакомиться и сдружиться с несколькими молодыми бездельниками, что весьма укрепило меня на стезе порока и послужило для дальнейшего растрепания моей бессмертной сущности.

Произошло это при следующих обстоятельствах.

В те годы среди лучших и знатнейших людей города было заведено устраивать у себя некие литературные собрания, называемые феатрами, где обыкновенно сходились любители тонкой игры ума и совершенства словесного образа. Под сводами домов, собиравших таковые феатры, нередко кипели ученые диспуты, участники коих касались вопросов философии, риторики и устройства самого мироздания, звучали музыка и пение, сопровождавшие тексты зачитываемых речей и отрывков наиболее эффектных писем. Один из подобных домов был дом патрикия Феодора Камулиана — моего близкого родственника. Я, конечно же, не преминул проникнуть в этот избранный кружок и был счастлив состязаться в учености и красноречии со многими прославленными мужами.

Сам патрикий находился в то время у двора в немилости, ибо имел несчастье несколько лет тому назад чем-то навлечь на себя гнев августы, подвергся изгнанию, был возвращен по ходатайству ее сына императора, но с той поры пребывал как бы в добровольном затворничестве в своем большом и великолепном доме близ монастыря Перивлепта в квартале Сигма. Так что ежевечерние ученые собрания являлись единственной его отрадой и утешением.

Сын Камулиана по имени Григорий — молодой человек прекрасной наружности (он был высок, как Саул, обладал волосами Авессалома и прелестью Иосифа), но без всяких способностей, редко участвовал в этих вечерах, да и нечасто вообще бывал под отцовским кровом, растрачивая цвет своей юности на Ипподроме или в злочных местах города с такими же, как и он сам, состоятельными невеждами. Тем не менее, столкнувшись с ним в доме патрикия, был я по незрелым летам своим совершенно очарован внешним блеском этого пустоцвета и, не имея никакой опытности в плавании по волнам житейского моря, стал буквально смотреть в рот сему юноше, почитая его за своего кормчего и чуть ли не наварха.

Оный Григорий, заметив, что я с удовольствием и жадностью внимаю его речам о всевозможных соблазнах царственного града, предложил познакомить меня со своими друзьями, затем уговорил как-то вместе скоротать вечер-другой, так что не прошло и пары седмиц, как я стал более времени проводить в компании сих новых знакомцев, нежели в феатре патрикия.

С этой поры совсем иначе стали протекать мои дни и ночи, которые ранее я посвящал научным занятиям и досугам. Мои новые друзья — Николай Воила, Петр Трифилий, Никифор Мусулакий, Арсафий Мономах и молодой Камулиан — были сыновьями видных сановников, людьми обеспеченными, и хотя некоторые из них и числились по тому или иному гражданскому ведомству, а иные, как проексим Воила, состояли в гвардейских тагмах, но на деле все свои обязанности перепоручили заместителям, сами же вели вполне праздный образ жизни.

Так, когда не было конных ристалищ, день до самого вечера они обыкновенно делили между посещением терм Зевксиппа или Ксенона (тех, что расположены возле дворца Девтерон), где умащали свои тела ароматными маслами и изысканными благовониями, нежились в горячих и теплых водах, и отдохновением в кабаках-фускариях, великое множество которых занимает портики в Антифоре, вокруг Форума Константина, ночью же уничтожали красоту душ своих в притонах продажных женщин.

В давнее время приснопамятный и мудрейший император Юстиниан Великий много сил отдавал богоугодному делу исправления нравов царственного града. Среди его замыслов был и такой, предназначенный для спасения загубленных душ: город в то время наводняли сонмы шлюх, словно мухи на мед слетающих сюда из всех пределов Ромейской державы. Император не пытался направить их на истинный путь словом — это племя глухо к спасительным увещаниям — и не пробовал действовать грубой силой, дабы не вызвать обвинения в насилии, но, соорудив в самой столице, напротив Анапле монастырь величины несказанной и красоты неопишуемой, объявил указом всем женщинам, торгующим своими прелестями, следующее: если кто из них последует туда и, сменив одежды разврата на монашеское платье, изменит также и нрав свой в пользу добродетели, тем не придется страшиться нищеты и скудости. Обитель эту император Юстиниан основал совместно с супругой своей — августой Феодорой (в делах благочестия они всегда действовали сообща) и наименовал «монастырем Раскаяния» — Метаноей. Говорят, что огромное число обитательниц чердаков откликнулось на призыв державной четы и чудесным образом обратилось из сосудов похоти в юное Христово воинство.

Что же мы видим ныне? К чему привели все благие начинания? По-прежнему богохранимый наш город, осененный омофором самой Пречистой Богородицы, служит столицей и для демона блуда. Продажных женщин не только не стало менее, но словно и прибавилось: и если ранее притоны этих распутниц ютились в темных переулках и подворотнях, то теперь самый Форум Константина осквернен сими домами разврата, для жительства гетер отданы целые кварталы, главнейший из которых украшен бронзовым истуканом Афродиты! Уже не только чердаки, но и великолепные портики вокруг Анемодулия и половина жилищ в Кифи стали прибежищем блудниц.

Как бы то ни было, в то время я был совершенно пленен Григорием Камулианом и его друзьями и вполне отдался новому для меня образу жизни, почти весь свой досуг без остатка посвящая служению тем же кумирам.

Однако пора мне, закончив с необходимым вступлением, приступить непосредственно к рассказу о том, что произошло со мной сорок лет назад и как безбожная эллинская философия и губительные пороки едва не увлекли меня туда, где тернии, и ехидны, и василиски, и гады ползучие.

II

Случилось раз мне вместе с Трифилием, Мономахом, Николаем Воилой и сыном патрикия Феодора завтракать в портике Мардуфа на прекрасной беломраморной террасе, полого спускающейся к гавани Феодосия. Справа нам открывался чудесный вид на любимый Елевферский дворец августы Ирины, весь утопающий в изумрудной зелени огромных платанов и лиственниц; по левую руку от нас раскинулись обширные, расположенные уступами сады, поросшие пиниями, кедрами и гигантскими кипарисами, испещренные лужайками с подстриженными кустами акации и квадратными цветниками, с дорожками, выложенными разноцветной мозаикой, и небольшими прудами со множеством водоплавающих птиц. Сам портик располагался в густой тени древней смоковницы, надежно защищающей его от беспощадных солнечных лучей. Прямо позади портика находилась усадьба Мономахов, откуда нам и доставляли все необходимое для трапезы.

Мы заказали слугителю принести пару кувшинов розового кипрского вина, пятимесячного ягненка и вымя молодой свиньи, как можно более жирное и сочное, а Арсафий Мономах велел еще отдельно приготовить для себя упитанную трехгодовалую курицу, какими торгуют в птичьих рядах на Форуме Быка и у которых корм, благодаря искусству людей, задававших его, толстым слоем откладывается на ножках.

Разлив вино по кубкам, Мономах, как и полагается хозяину, первый пригубил его. Отпив глоток, он со вкусом почмокал губами и, подъяв перст, заговорил так:

— Прекрасное розовое вино! Не чета тому отвратительному, больше напоминающему уксус пойлу, коим потчуют в придорожных тавернах или каким нас пытаются отравить разносчики на Месе. Это вино настаивается на смеси горных роз, аниса, шафрана и сладчайшего аттического меда. Оно и сейчас, спустя пятнадцать дней после приготовления, чудесно на вкус, но когда еще более состарится, то станет вне всякого сравнения. Кроме того, оно незаменимо для страдающих желудком или легкими.

Осушив свои кубки, мы все согласно закивали головами, а Мономах продолжал:

— Однако вам необходимо попробовать и мое фасосское вино. Оно, конечно, не такое сладкое, но ароматом и крепостью ничуть не уступит розовому. Рецепт его приготовления я нашел в «Георгиках» у Флорентина. Он не так прост, но результат того стоит. Для этого вина годится только спелый красный и черный виноград с Фасоса. Каждую гроздь его нужно отдельно сушить на солнце пять, а лучше — шесть дней; затем в полночь еще горячими бросить их в муст, вскипяченный пополам с морской водой. С восходом солнца виноград следует отправить в давилню еще на одну ночь и на день. Выжатый сок разлить по пифосам, врытым наполовину в землю, и, подождя должное время, покуда он полностью перебродит, влить в него двадцать пятую часть сапы. После же весеннего равноденствия, очистив, перелить в небольшие амфоры...

— Полно врать-то! — неожиданно прервал его Петр Трифилий. — Неужто, не посадив за всю жизнь ни одной лозы, ты, Арсафий, хочешь уверить нас, будто разбираешься в винах так же хорошо, как твой дед-виноградарь!

— А как ты следишь за тем, чтобы слуги не разбавляли вино водой? — живо поинтересовался Камулиан, желая сгладить грубость приятеля.

— О! Для этого существует множество способов, — важно отвечал Арсафий, совершенно игнорируя привычные для него насмешки Трифилия. — Некоторые бросают в сосуд яблоко, а еще лучше — дикую грушу; некоторые — кузнечиков, другие — стрекозу: если они всплывут, значит, в вине примеси нет; когда же потонут, считай поймал злодея за руку — непременно долили водицы. Слышал я, что есть такие, которые наловчились определять воровство с помощью тростника, папируса, травинки или вообще какого-нибудь прутика. Смазав оный предмет оливковым маслом и обтерев, вставляют его в вино, вытащив же, осматривают: коли вино содержит воду, то на масле она капельками и соберется. Еще говорят, будто негашеная известь, политая разбавленным вином, становится жидкой, качественный же напиток превращает ее в сплошной ком. Но признаюсь, сам я ничего из этого не пробовал и утверждать действительность сих приемов не берусь. На мой взгляд, простейший и безотказный способ, коим я сам пользуюсь, да и вам настоятельно рекомендую — это, зачерпнув вина из пифоса, налить его в небольшую амфору, заткнуть отверстие губкой (непременно — новой и как следует пропитанной оливковым маслом) и перевернуть. Вода-то обязательно просочится, тут и готовь каштановые прутья для дворни! А тебе, Трифилий, могу ответить, что вовсе не обязательно всю жизнь работать заступом, чтобы разбираться в свойствах вина.

— Каюсь, друг мой, каюсь! — замахал тот руками. — Велики твои познания! Видишь, как у меня от них, словно у беременной женщины, вздулся живот?

— Живот у тебя вздулся не от Мономаховой мудрости, — со смехом заметил

проексим Воила, — а от потакания собственному пагубному влечению к противным природе удовольствиям. Смотри, чтобы тебе и впрямь не оказаться в тягости!

— Побойся бога, несчастный! — вскричал Петр Трифиллий. — С какой стати ты на меня наговариваешь? Вот уж скоро будет год, как я прогнал всех своих любимчиков. С той поры жизнь моя являет сугубый пример праведности, ибо я только тем и озабочен, чтобы укрощать свою плоть постом и молитвой, сохраняя все телесные ощущения чистыми и незапятнанными.

— Умолкни, распутник с редькою в задку! — не унимался Николай Воила. — Всем ведомо, какими воистину темными путями достиг ты сана мандатора и должности анаграфевса геникона, ведь о пристрастиях начальника твоего — логофета Никифора судачат даже на городских рынках.

— И в узком кругу не стоит столь опрометчиво высказываться о лицах, облеченных властью, — наставительно произнес Арсафий Мономах.

— Истинная правда. Особенно когда у кормила этой власти стоят такие люди, как евнух Ставракий и патрикий Аэций, — согласился Трифиллий.

Мы все на него зашикали, ибо в этот момент из-за колонны портика неожиданно появился и стал приближаться к нам некий человек, облеченный в рваное вретиче из козьей шерсти. По дикому взгляду, множеству язв, покрывающих его полунагое тело, всклокоченным седым волосам и бороде и особенной распространяемой им селедочной вони я тотчас узнал известного в городе юрода, прозванного Тельхином за зверообразный облик. Незадолго перед тем выпущенный из приюта для умалишенных при храме святой мученицы Анастасии, он подвизался тогда в рыбных рядах Большого эмвола и в Артополионе, занимаясь попрошайничеством и забавляя прохожих дикими гримасами и полоумными плясками.

Подойдя к нашей кампании почти вплотную, сей гниющий старикашка сначала задрожал, точно в припадке трясучей болезни, потом принялся беззвучно открывать рот, тщетно сясь нечто сказать, затем стал тихонько покашливать и понемногу отхаркивать (а нутро у него было чернее смерти и в носу всегда словно что-то варилось), и, наконец, замогильным голосом заговорил:

— Подайте несколько оболов несчастному бедняку, о бесстыжие сыны порока! Или хотя бы вон ту отлично подрумяненную на вертеле курицу, начиненную, как я полагаю, миндаем. Довольно вам насыщать свои бездонные чрева, довольно набивать их сочной бараниной и вон теми спелыми и столь привлекательными на вид фигами. Но, видит Бог, недолго вам поглощать холмы хлебов, леса зверей, проливы рыбы и моря вин! Ибо истинно говорю вам: скоро уже сатана наполнит ваши желудки не медом и вином с миррой, но серой и испражнениями с пеплом смешанными!

— Сгинь, вонючий селеед! — тотчас закричал в ответ юродивому Арсафий, кидая ему под ноги горсть медных нуммий. — Возьми, что причитается, и ступай прочь, а то у меня от твоего гнусного смрада совсем пропал аппетит.

Я же, заметив, что волосы на голове и в бороде Тельхина шевелятся от обилия насекомых, доброжелательно посоветовал ему сходить на эти деньги в баню и тщательно вымыться. При этом я из милосердия также бросил попрошайке кусок тушеной в молоке ягнатины, но так неудачно, что попал ему прямо в лоб, и это заставило юродивого упасть на каменные плиты портика и заверещать дурным голосом, кашляя и разбрызгивая вокруг черную мокроту:

— Ах ты погибшее создание! Ах ты скудель греха и средоточие всех земных мерзостей! Почто губишь ты цвет своей юности в гнусности разврата? Почто сходишь с ума, несчастный, по источенной червями женской плоти? Пока не поздно, пади смиренным перед стопами Спасителя, отрекись от гордыни, самонадеянности, тщеславия, распутства и, паче всего, безбожия! Помни, о греховодник, что демоны, в обилии населяющие град сей, жаждут сделать тебя рабом порочности и тем обречь геенне огненной. Остерегись, заблудший, ибо вижу я — не далее как нынешней ночью совершишь ты нечто ужасное перед Господом!

С этими словами юродивый развернулся и быстро бросился прочь, подпрыгивая, прихрамывая и издавая на ходу душераздирающие звериные вопли.

Несколько опешив от такого обильного потока ругани, исторгнутого этим безумцем, я посмотрел на своих друзей и увидел, что они, глядя на мое растерянное лицо, давятся от смеха.

— Ишь, раскаркался, бесноватый болтун, — сказал вслед убегающему бродяге Николай Воила. — Пускай идет к воронам! Там ему как раз самое место.

— А ты все же поостерегись, дражайший Феофил, — продолжая смеяться, обратился ко мне Трифиллий, — подобные речи губительны, как укусы бешеной собаки. И вообще, я удивляюсь, как он не отгрыз тебе нос, когда ты залепил ему в лоб бараньей костью?

— Прекрати пугать нашего друга, Петр, — отозвался Григорий Камулиан. —

Видишь, на нем лица нет, так его взволновали слова этого одержимого. Ты же, Феофил, не обращай внимания на чокнутого бродягу. Разве ты не знаешь, что человек этот воистину одержим бесами и даже питается нечистотами?

Так успокоив меня, сын патрикия вновь принялся за еду, его же примеру последовали и все прочие.

Когда мы отведали хваленого фасосского вина Арсафия Мономаху, которое, действительно, оказалось отменным — терпким и ароматным, закусили молочным поросенком, приготовленным с нардом, дикой мятой, гвоздикой и корицей, осетром, искусно обжаренным в виноградном соке вместе с грибами, сельдереем, укропом, миндаем и индийскими благовониями, и чудесными отборными финиками в белом меду, то душевное спокойствие вновь вернулось ко мне, и я напрочь забыл ужасного юродивого.

Вечный насмешник Трифиллий, один выпивший не менее кувшина вина, не мог не признать его несомненных достоинств, тем не менее, он все-таки заявил, обращаясь к Мономаху:

— Между прочим, ведомо ли тебе, любезный Арсафий, что во Влахернах есть одна таверна (которую, к слову сказать, содержит мой хороший приятель), где фасосское подают ничуть не хуже, чем это, а может, и лучше?

— Не думаю, что ты сумеешь отличить хорошее вино от помоев, — обиженно отвечал Мономах, — ибо тебе воистину все равно, что заливать себе в глотку.

— Я вовсе не смеюсь над тобой, Арсафий, — продолжал Трифиллий. — Напротив, я готов признать, что твое вино достойно благородного чрева самого логофета дрома — превосходительного Ставракия, но спорю на десять золотых солидов, что, попробовав то, о котором я тебе толкую, и ты сам, и все здесь сидящие с готовностью подтвердите мою правоту.

— Ну что же, будьте вы все свидетелями, друзья мои! — вскричал Мономах. — Пусть, только этот хвастун сведет нас в свою таверну, и, клянусь серпом Кроноса, если хотя бы двое из вас признают его слова за истину — я выложу не десять, а все пятнадцать солидов!

Предложение всем пришлось по душе, и мы его немедленно поддержали, решив, что тем же вечером отправимся с Петром Трифиллием, и поклялись Мономаху, что суд наш будет беспристрастным, а приговор — справедливым. Встречу назначили в первую стражу около базилики Покрова Пресвятой Богородицы во Влахернах.

Оставшуюся часть дня до вечера решено было воздержаться от употребления пряной пищи и, тем более, любого вина, дабы не испортить себе вкус перед столь серьезным испытанием.

III

В условленный час мы все пятеро стояли перед воротами храма Пречистой Матери Божьей, в коем с давних времен благоговейно хранится священный мафорий Госпожи и Владычицы мира.

Ныне я с невыразимой горечью и поздним раскаянием вспоминаю тот вечер, ибо стоило мне послушаться тогда голоса сердца — и я оставил бы негодных друзей своих ради всеобщего бдения в сем храме, но — увы! — вместо этого, увлекаемый личным демоном, последовал я вместе с ними в сторону Морских стен, туда, где, по уверениям Петра Трифиллия, должна была находиться искомая таверна.

Здесь, во Влахернах, было просторнее, нежели в центре города: дома не жались друг к другу, словно озябшие нищие на паперти, и не нависали верхними этажами над мостовой, заставляя меркнуть солнечный свет, как в переулках Месомфала — средостения столицы. Меньше попадалось лавок-эмволов и мастерских-эргастий, зато жилища утопали в зелени садов и виноградников. Самые крыши домов этого богатого предместья являли собой как бы висячие сады, ибо в обилии были уставлены большими глиняными и свинцовыми сосудами, в которых выращивались разнообразные деревья и цветущие кустарники.

По дороге Трифиллий без умолку болтал, рассказывая нам о своем знакомом-трактирщике, к которому мы направлялись. Мы узнали, что звать его Домн и происхождением он иллириец и поэтому человек во всех отношениях прекрасный (сам Трифиллий был также родом из Диррахия, который вослед за Валерием Катуллом именовал не иначе как «кабак Адриатики»). Нам стало известно, что харчевня-фускария Домна пристроена почти вплотную к крепостным стенам, при этом Петр не преминул уколоть своей насмешкой нас, уроженцев Византия:

— А ведомо ли вам, мои друзья, откуда взялся этот несуразный обычай размещать кабаки рядом с казармами и крепостными башнями?

— Нет, о достойный поклонник Диониса, — отвечал ему Григорий Камулиан. —

Так что не медли и поспеши рассеять мрак нашего невежества.

— Знайте же, что если верить старику Филарху (а я ему верю, хоть он и жил во времена незапамятные), византийцы издревле были сластолюбивы и пьяницы, они жили по корчмам, а свои собственные жилища совокупно с женами отдавали внаем инородцам...

— Постой-постой! — не удержался и прервал его Мономах. — Как это — «совокупно с женами»? Не хочешь ли ты сказать, распутник, что они и жен своих отдавали внаем?

— Признаюсь, это место в трудах почтенного ученого несколько темно для понимания... Но продолжу: характера они были самого не воинственного, им и во сне не хотелось слышать звук боевых труб. Так вот, в его, Филарха, шестой книге я прочел, что в свое время, когда один из сирийских Антиохов осаждал Византий, сплошь обложив его с суши многочисленным войском, то, по нехватке наемников, пришлось и жителей обязать защищать собственный город. Однако разгульным гражданам Византия утомительная сторожевая служба на стенах была вовсе не по нутру, и, следуя старой привычке, они то и дело убегали в питейные заведения. Вот по этой-то причине стратеги их Леониду поневоле пришлось открыть шинки тут же — за амбразурами, лишь бы стены не обнажились окончательно.

Николай Воила, как человек военный, поинтересовался, удалось ли отстоять тогда город, и, узнав от Трифилия, что удалось, поспешил признать меры Леонида безусловно полезными и достойными всяческих похвал.

Беседуя таким образом, мы добрались до крепостных ворот Полация, впритык к которым действительно стояла какая-то харчевня. Выстроена она была в два этажа, частью — из камня, частью — из обожженного кирпича, покрытого снаружи штукатуркой, и несколько крикливо расписана по фасаду замысловатыми узорами, изображениями смеющихся упитанных эротов, пляшущих козлоногих сатиров и тяжелых нимф с фигурами ипподромных кулачных бойцов. На вывеске перед входом привзвонно сияли золотой краской кувшин и телец.

Верхний этаж служил, вероятно, жильем хозяину и его семейству, а внизу находилась сама харчевня. Когда я зашел вслед за друзьями в помещение, обоняние мое было приятно поражено отсутствием обычных для подобных заведений запахов прокисшего вина и прогорклого масла. Конечно, оно не благоухало амброй и киннамоном, однако ароматы подрумянивающегося на вертеле над большим очагом барашка, свежеспеченного хлеба и козьего сыра не менее приятно щекотали мне ноздри.

Посреди харчевни стояли расположенные буквой «тау» два длинных стола из толстых и отлично выскобленных дубовых досок; рядом со столами, несмотря на теплую погоду и пылающий в дальнем углу очаг, курилась жаровня. Посетителей было немного: всего три человека сидели перед большим блюдом с кусками дымящегося мяса, что-то прихлебывали из глиняных чаш и жевали ячменные лепешки, макая их в острый соус. Обслуживала их молодая рабыня, по внешнему виду — явная склавинка из Фессалии, одетая в чистую льняную тунику.

Как только мы уселись, к нам подошел и сам хозяин — Домн Иллириец — крепкий человек с черными волосами, темными глазами и такой густой и обильной бородой, что казалось, будто она растет у него от самых бровей. Приняв заказ и выслушав подробные объяснения Петра Трифилия относительно цели нашего прихода, он ухмыльнулся и сообщил, что в его заведении имеется целых пять сортов фасосского вина, которые нам все придется последовательно испробовать.

Уже через мгновение рабыня ставила перед нами первый кувшин и блюдо с нарезанным небольшими ломтиками ароматным пафлагонским сыром, которому копчение над дымом придавало особенную остроту и твердость. Пока мы смаковали вино, Арсафий Мономах с некоторой тревогой всматривался в наши лица, а затем, не дожидаясь каких-либо оценок напитка, заговорил обращаясь к трактирщику Домну:

— А приходилось ли тебе, любезный, пробовать то вино, что по великим праздникам можно отведать в дворцовых палатах Магнавра? — узнав, что Домн никогда не бывал при дворе и ему не случалось даже проникать за стены Большого императорского дворца, Арсафий продолжил: — В таком случае, тебе не безынтересно будет услышать мой рассказ: перед Магнаврой имеется небольшая площадь, на севере примыкающая к одному из внутренних дворов Великой церкви. В самом центре этой площади находится глубокая мраморная чаша диаметром десять локтей, напоминающая по виду фиалу или нимфей, но вознесенный на вершину порфирной колонны высотой в четыре локтя. Над сей чашей сооружен свинцовый купол, а поверх него — еще один, но уже серебряный, и эти купола поддерживаются двенадцатью витыми колоннами из лучшей коринфской бронзы. Капители каждой из тех колонн увенчаны сотворенными с неведомым в наши дни искусством изваяниями тварей земных и небесных: одну украшает золоченая статуя льва, другую — быка, третью — сокола, четвертую

— волчицы, есть среди них слон и павлин и даже ангел Божий с распростертыми крылами. К этому вознесенному на колонну нимфею, а точнее — к каждому из его изваяний, подведена вода из расположенной на той же площади закрытой цистерны-базилики, наподобие той, что стоит в Халкопратии, но, конечно, меньшего размера. В дни же больших торжеств цистерну эту наполняют не водой, но вином и белым медом. А чтобы наполнить ее, нужно не менее десяти тысяч амфор вина и тысяча амфор меда! Вино это благоуханными струями истекает из пастей, клювов и иных естественных отверстий всех тех тварей, до краев наполняет мраморный нимфей, из него скрытыми путями возвращается обратно в цистерну и так кругообразно циркулирует, пока не бывает полностью выпито гостями и служителями дворца. Мне доподлинно не известен драгоценный рецепт изготовления сего вина, знаю лишь, что при этом используют самый лучший сорт винограда — дымчатый мерсит. Это тот самый сорт, из которого в Вифинии делается знаменитое деңдрогаленое вино, в других местах (например, в Пафлагонской Ти и в Гераклее на Понте) называемое тиарин. Гвоздика, корица, смирна и душистый нард также явно в нем присутствуют. Но верь мне: никогда в жизни ты не пробовал напитка более совершенного! Отведав его однажды, все прочие вина ты станешь почитать пресными. По вкусу подобен он божественному нектару олимпийцев, ибо также может сделать человека бессмертным! Душа стремится покинуть брненное тело и воистину растворяется в Божестве от одного лишь глотка сей густой и ароматной субстанции! Мне самому довелось пить его лишь однажды: в тот самый день, когда богохранимый наш автократор вручал мне золотой хрисовул на сан апозпарха, совокупно с приличествующим сему званию шелковым скарамангием, и этот день хранится в моей памяти, подобно бесценному зерну жемчуга.

Как только Мономах закончил свою вдохновенную речь, трактирщик, не говоря ни слова, забрал у нас пустой кувшин и принес другой — полный. Миловидная светловолосая рабыня-склавинка вновь поставила перед нами блюдо с ломтями сыра, на этот раз — белого, сохраняемого обыкновенно в морской воде, и соленую свинину с фригийской капустой, плавающие в жиру, а Трифиллий, наполняя чаши, сказал:

— В тебе, Арсафий, гибнет дар синклитика и государственного мужа, ибо ты воистину способен любого уболтать до бесчувственности! А когда бы похвале вину прилично было звучать под сводами храмов, красноречие твое достигло бы заоблачной высоты речений самого Иоанна Златоуста или, по меньшей мере, могло сравниться с гремещими словесами нынешнего настоятеля Саккудианской обители преподобного Платона. Вы же, друзья, не слушайте сего оракула виноградной лозы и обратите лучше внимание на вполне приличное фасосское, что плещется сейчас в ваших чашах.

— Истину глаголешь, друг Петр, — поддержал его Григорий Камулиан. — Воздадим должное сему напитку, ибо какой иной город может похвалиться подобным разнообразием вин, доставляемых сюда и с Эвбеи, и с Хиоса, и с Родоса, и мало ли откуда еще! Вам ведомо, что в прошлом году мне довелось довольно долго прожить в Афинах, наводя порядок в отцовских имениях. Так вот, вся Эллада, весь Пелопоннес, которые ныне сплошь заселены варварами-склавинами, пренебрегая божественной виноградной влагой, употребляют некое отвратительное, хотя и весьма крепкое, пойло из хлебного зерна и ячменя, а иные — даже из полбы, проса или овса. Хорошего вина достать там совершенно невозможно, а которое и имеется, непригодно для желудка образованного человека, ибо все смешано со смолой! Сам я никогда не притрагивался к этой отраве и лишь с невольной завистью вспоминал о вас, имеющих возможность вкушать пряное аминийское, душистое косское и несравненное белое керкирийское вино.

К тому времени, как мы расправились со вторым кувшином и приступили к третьему, я, как менее привычный к обильным возлияниям, уже перестал ощущать вкус поглощаемого напитка и недоумевал, каким образом Камулиан и Воила намереваются вынести свое решение о сравнительных достоинствах этого и Мономахова вина. Однако те пока и не помышляли выражать свое мнение или произносить вслух какие-либо суждения, будучи всецело заняты самим процессом дегустации.

После третьего кувшина я решительно заявил, что более не в состоянии здраво судить о качестве винных запасов фускарии Домна и попытался уклониться от дальнейшего участия в споре, однако все четверо моих друзей восстали против этого и договорили-таки меня занять вместе с ними и следующим сортом фасосского.

— Если верить Африкану, — заявил Арсафий Мономах, — от опьянения весьма помогает сырая капуста, которую, однако, необходимо потреблять перед застольем. Известно ведь, что капуста извечный антагонист вину, и даже если посадить ее рядом с виноградной лозой, то последняя примется расти в противоположную сторону, в силу своей природной антипатии к сему овощу. Тебе же, Феофил, я рекомендую воспользоваться старым и многократно проверенным способом: испив очередную чашу, немедля произнеси следующий гомеровский стих: «Трижды с Идейского

Гаргара грозно гремел Промыслитель...» — и вновь обретишь всю трезвость ума.

Все это время Трифиллий развлекал нас рассказами о необыкновенной и всегда, по его словам, сопутствующей ему удаче при известной игре в кости, называемой «тавли». Неожиданно один из трех упомянутых мною ранее и сидевших далеко в стороне от нас посетителей таверны поднялся со своего места, приблизился и обратился к нашей компании со следующими словами:

— Я вижу, благородные игемоны, что вы заняты весьма важным делом, и я бы не осмелился отвлекать ваше драгоценное внимание на вещи нестоящие, но краем уха я вынужденно услышал, как было упомянуто об известной забаве, называемой «тавли», и решил узнать, не соизволит ли кто-либо из честной компании сразиться со мной, недостойным, в эту издревле славную игру?

Незнакомец по виду явно походил на странствующего купца-аравитянина: был облачен в длинный и широкий черный плащ и кирпичного цвета сандалии; на смуглом, почти как у эфиопа, лице его подобно двум ярким карбункулам сверкали большие глаза, крючковатый нос сильно выдавался и нависал над верхней губой, козлиная бородака заплетена в две аккуратные косички, а унизывающие его пальцы дорогие перстни и кольца свидетельствовали о достатке, если не о богатстве.

Петр Трифиллий немедленно высыпал на стол все имевшееся у него с собой серебро и, лукаво ухмыляясь, предложил аравитянину ставить на кон за раз по семь милиарисиев, чтобы победитель получал стоимость целого золотого. В ответ надменный сын Агари лишь невозмутимо кивнул головой.

Мы не успели еще допить четвертый кувшин вина, как все деньги Трифиллия до последнего кератия перекочевали в поясной кошель его противника.

— Непостижимо! — вскричал наш товарищ, растерянно разводя руками. — Впервые удача полностью изменила мне. Ни одного счастливого броска! Не иначе, этому чужеземцу ворожит сам сатана!

— Просто ты спугнул свою удачу неумеренным хвастовством, — с улыбкой заметил проексим Воила.

— Не желаешь ли сам испытать эту капризную богиню? — поинтересовался в ответ Трифиллий. — Говорят, к гвардейцам она особенно благосклонна.

Николай Воила не замедлил принять вызов и также бросил на стол перед сарацином свой кошель. В срок еще более короткий, чем тот, который был отпущен Трифиллию, и он лишился всех денег. Агарянин насмешливо поклонился ему, с показательным почтением касаясь правой рукой поочередно лба и груди, а затем выжидающе уставился своими сверкающими, как уголья, глазами на тех из нас, кто еще не принимал участия в игре.

Григорий Камулиан немедленно заявил, что прихватил с собой одну медь, которую благородному человеку стыдно ставить на кон, поэтому не может принять участия в игре. Тогда Мономах, не говоря ни слова, подозвал к себе взмахом руки трактирщика, расплатился за все пять заказанных нами кувшинов вина, а оставшиеся деньги — что-то около двух солидов — положил перед собой.

На сей раз игра длилась несколько долее: Арсафий то проигрывал большую часть золота, то отыгрывался, но — увы! — в конце концов и он остался без обола.

Зная, что я никогда раньше не играл в кости, друзья и не думали предлагать мне попытать удачу. Однако я не мог равнодушно смотреть на их опечаленные лица и видеть насмешливую улыбку сарацина — мне казалось, что я не имею права оставаться в стороне и даже не попробовать отомстить за поражение своих товарищей. Кроме того, глядя в горящие, как раскаленные головешки, глаза этого неверного, я чувствовал, что меня обуревают страстное и неодолимое желание испытать свое счастье и сбить с него спесь. Уверенность в победе непрощеной гостьей поселилась в моем сердце!

По случайности у меня при себе имелось целых сто пятьдесят новых полновесных золотых номисм с изображением священной особы благочестивой августы: дело в том, что незадолго перед тем я довольно удачно продал свой крошечный и полуразрушенный эмвол в Иеросе и как раз этим вечером намеревался зайти к патрикию Феодору и отдать ему полученные от сделки деньги в рост — проценты с сего капитала должны были на ближайшее время обеспечить мне вполне безбедное существование.

С таким количеством золота я чувствовал себя воистину непобедимым. Сняв пояс, я вытряс из него часть монет и заявил о своем желании также попытать счастье. Григорий Камулиан постарался остановить меня, указывая на участь остальных, но я остался непреклонен и первый взялся за кости.

Игра продолжалась бесконечно долго. Первоначально случай во всем благоволил ко мне: я отыграл почти все деньги, спущенные моими друзьями и, когда бы остановился на этом, смог бы выйти из-за стола с честью, но гордость и азарт заставили меня продолжить партию, дабы вернуть все до единого медяка. Тут капризная богиня слепой судьбы — Тиха повернулась ко мне задом, и я стал проигрывать номисму за номисмой. Это лишь подогрело мое самолюбие, и я принялся швырять на стол золото,

словно негодные нуммии!

Товарищи мои молча и напряженно наблюдали за игрой; агарянин также не произносил ни слова, лишь продолжал насмешливо ухмыляться и таращить на меня свои завораживающе мерцающие буркалы; даже трактирщик Домн и его молодая рабыня подошли к нам и склонились над столом, чтобы удобнее следить за игрой с такими небывалыми ставками.

Увы! Я даже не успел заметить мгновения, когда пояс мой опустел окончательно, лишь захотев в очередной раз вытрясти из него монеты, я обнаружил, что совершенно проигрался. В ярости бросил я его на пол и, не помня себя, воскликнул:

— Свидетель мне князь мира сего! Клянусь всеми тварями Тартара и готов обречь душу демонам в том, что здесь дело нечисто: тут явно замешано колдовство и кости у этого мошенника закланы каким-нибудь особенным способом!

Дело в том, что в ходе игры я не раз обращал внимание на подозрительные манеры чужеземца: мне показалось странным, что перед каждым броском тот плевал на кости, потирал их в ладонях и нашептывал над ними некие похожие на заклинания слова на неизвестном варварском наречии. Вот это и заставило меня высказаться столь опрометчиво.

В ответ агарянин злобно рассмеялся и, поманив к себе трактирщика, что-то негромко тому приказал. Домн Иллириец немедленно удалился, но через мгновение вернулся обратно и высыпал на стол передо мной целую дюжину игральные костей.

— Если молодой игемон сомневается в честности моей игры, — прошипел нечестивый сын пустыни, — он должен доказать это. Прошу тебя, выбери любые из этих костей и испытай свое счастье еще раз.

Я с раздражением принялся объяснять ему, что не смогу этого сделать, ибо лишился уже всех денег, но аравитянин грозно насупил брови и, схватившись за рукоять заткнутого за пояс большого кинжала, прервал меня:

— Оскорбление было брошено, и клевета должна быть рассеяна! Если у тебя нет больше золота, так я готов принять в качестве ставки произнесенную тобой клятву.

— Что ты сумеешь под клятвой, чужеземец? — поинтересовался Николай Воила, осторожно проверяя перевязь своего меча. — Ты готов вместо денег удовольствоваться честным словом нашего друга?

— О нет! — отвечал тот, вновь ощерив в злобой усмешке зубы. — Я готов удовольствоваться его душой, которую он пообещал обречь демонам.

Некий внезапный холод объял меня от этих слов, и ледяной озноб на мгновение охватил все мои члены, но — видит Бог, сколь омрачен был разум раба Твоего! — внутренне я даже подивился невежеству сего варвара, готового рисковать таким количеством золота за пустые и ничего не значащие, как мне казалось тогда, слова.

— Смотри же, — повторил он, обращаясь ко мне, — твоя клятва против всех денег, что я выиграл у тебя и твоих друзей нынче ночью! Чем не прекрасная ставка?

Товарищи мои безмолвствовали, даже Трифиллий не стал отпускать свои обычные шутки и лишь пожал плечами. Я выбрал наугад две кости из принесенных хозяином фускарии и предложил агарянину первым начать игру. Тот взял их и, не производя уже никаких подозрительных манипуляций и не раскрывая рта, небрежно кинул на стол. Все мы, исключая самого чужеземца, радостно вскрикнули: выпали «гамма» и «дельта». Бросок был явно не самый удачный!

Невольное зажмурившись, бросил я: выпали «бета» и «эпсилон» — тот же результат! Агарянин вновь легким движением выбросил перед собой кости. И опять — «гамма» и «дельта»! Дрожащей рукой сгреб я со стола обе вестницы судьбы и, перемешав, с размаху швырнул на дубовые доски... Излишне говорить, что шестигранники легли неудачно — «альфа» и «бета» — за всю игру у меня не выходило столь несчастливого сочетания!

Я все еще как замороженный смотрел на стол, не в силах постигнуть подобного невезения, когда послышался глухой стук, и, оглянувшись, я увидел, что молодая рабыня без чувств лежит на полу. Мы все вскочили и бросились к ней; первым подбежал трактирщик, но едва он до нее дотронулся, как девушка забилась в страшных конвульсиях, изгибаясь всем телом и испуская изо рта пену. Через несколько мгновений она столь же неожиданно успокоилась и замерла в каком-то подобии столбняка, словно бы обратившись в безгласный камень. Ступор этот длился также недолго, ибо, как только я наклонился к ней, желая пощупать пульс, губы ее разжались, и она заговорила, не открывая глаз, голосом хриплым и глухим, неотличимым от зловещего карканья юродивого Тельхина:

— *День за днем будет угасать сей несчастный! И стечет плоть его на землю, как вода, и станет неразличим весь его облик, и разрушатся и распадутся все его сочленения, и кости его осыплются в преисподнюю!*

В ужасе отпрянув от склавинки, я осенил себя крестным знаменем, она же сразу

успокоилась и через короткое время совершенно пришла в себя, очевидно не помня, что с ней произошло и отчего она лежит на полу.

— И эта припадочная! — вскричал, устало вздевая руки, Петр Трифиллий. — Право, Феофил, ты притягиваешь безумных, словно патока насекомых. Трое за день — по мне, это чересчур! Сначала — бесноватый Тельхин, потом — свихнувшийся последователь Магомета... Кстати, куда делся наш обугленный друг?

Осмотревшись, я увидел, что аравитянин, действительно, исчез: видимо, поспешил скрыться от греха подальше с выигранным золотом, покуда мы были заняты рабыней. Пропали и двое его молчаливых спутников. Уход их никого особенно не расстроил, кроме трактирщика Домна, который заявил, что негодяи сбежали, не заплатив за выпивку. Мы все подивились подобной скарעדности, ибо, обобрав нас до нитки, могли бы они, по крайней мере, рассчитаться с хозяином фускарии.

— Однако мы до сей поры так и не решили наш спор! — внезапно вспомнил Трифиллий. — Вино выпито, деньги проиграны, так что и я, и сиятельный Арсафий с нетерпением ждем вашего приговора.

Видя, что я и Камулиан с Воилой в нерешительности чешем затылки, Арсафий, хлопнув в ладоши, подозвал к себе трактирщика и спросил:

— А что, любезный хозяин, издалека ли доставляют тебе виноград для того чудесного напитка, которым ты нас нынче потчевал?

Иллириец не замедлил уверить нас, что каждая гроздь выращена здесь же, во Влахернах, в собственных его виноградниках.

— Вот тебе и решение нашего спора, Трифиллий, — с улыбкой сказал Мономах. — О вине я, действительно, не могу сказать худого слова. Но какое же это фасосское?

IV

— Эх, обидно, что мы лишились всех денег, — с сожалением сказал Григорий Камулиан, выходя вслед за остальными из дверей фускарии в ночную тьму, — ибо теперь придется нам волей-неволей разойтись по домам, не осчастливив своим посещением и любовью ни одну из гетер в Кифи.

— Ну, ты-то не потерял ни единого медяка, — успокоил его проексим Воила, — так, может, наскребешь несколько милиарисиев для себя и друзей?

— Опомнитесь, несчастные! — в притворном ужасе вскричал Арсафий Мономах. — Разве вы не видите, что улицы пустынные, а огни в тавернах погашены? Продолжая бродить по городу в столь неурочный час, мы нарушим установления городского Эпарха! Что если заметит нас ночная стража?

— Друзья мои, утешьтесь, — вступил в разговор неугомонный Трифиллий, — я отведу вас в заведение, в котором у меня открыт неограниченный кредит и где, клянусь мужественностью Приапа, все удовольствия нам доставят в долг. И помните, что с нами проексим Петр Воила — кто осмелится задержать адъютанта domestика гвардейской тагмы экскувитов?

— Не только осмелятся, но и почтут за счастье, — мрачно проговорил Воила. — Ни денег, чтобы откупиться, ни подписанного Никтэпархом пропуска у меня при себе нет, а мой командир — domestик Иоанн Пикридий — пребывает в постоянной вражде с главою тагмы арифм и начальником ночной стражи — друнгарием виглы Алексеем Мусулемом, ибо первый держит руку августы, а второй — императора. Так что задержат экскувитора для стражников будет просто делом чести.

— В таком случае и для нас дело чести — надуть копыеносцев виглы! — воскликнул Петр Трифиллий. — А что скажешь на это ты, Феофил? Ведь ты — единственный из нас не почтен никаким саном и потому рискуешь больше всех, ибо стражники могут не только упечь тебя до утра в узилище Халки, но и примерно выдрать плетью.

Я несколько рассеяно ответил, что предпочел бы уединиться в своем доме и поспать.

— Э! Да я вижу, ты никак не забудешь чертова агарянина, — заметил Трифиллий. — Успокойся, любезный Мелиссин — душа твоя явно осталась при тебе и не попала в лапы демонов. Если, конечно, за таковых не почитать Камулиана, меня и всех остальных. Однако для поднятия духа тебе явно необходима женская ласка. Потому, друзья, решено: следуйте за мной в известную только вашему Трифиллию потаенную обитель Афродиты. Я буду вашим вожатым этой ночью, и да уподоблюсь я покровителю путников Гермесу или благой вестнице богов Ириде, но не мрачному старику Харону!

С этими словами он подхватил под руки меня и Камулиана и живо повлек куда-то в ему одному известном направлении. Мономах и Воила последовали за нами.

Пройдя кривыми и порядочно грязными переулками где-то между базиликой святого Иоанна и цистерной Бона, мы выбрались, наконец, на широкую, вымощенную каменными плитами Месу. Однако едва мы миновали руины крепостных ворот старой стены Константина и подошли к мраморным лвам, охраняющим пятиглавую

громаду храма Святых Апостолов, как услышали тяжелые шаги и лязг железа. К нам приближались ночные стражники виглы!

— Разбегаемся в разные стороны, друзья! — прошептал Арсафий Мономах. — Пусть каждый скроется в темноте какого-нибудь переулка, тогда проклятым копыеносцам (да выест им глаза проказа и поразит их члены гангрена!) нас не достать.

— Верно! — также шепотом поддержал его Петр Трифиллий. — А позже встретимся на Мавриановой улице, у Каменных Ворот — именно там и стоит нужный нам притон. До встречи!

И не дожидаясь, пока стража нас увидит, мы все бросились бежать кто куда. Я нырнул под каменное перекрытие ближайшего ко мне портика, затем, стараясь поднимать как можно меньше шума, прокрался вдоль стены какого-то дома и стремглав понесся по открывшейся за ней узкой улице. Направлялся я на юг, в сторону Ликоса — туда, где находился мой дом, ибо у меня и в мыслях не было являться на встречу к Каменным Воротам — на сегодня приключений с меня было вполне достаточно!

Не помню, сколько времени я плутал по кривым проулкам квартала Константианы, но только очень нескоро я очутился на небольшой площади, у подножия мраморной Маркиановой колонны, и понял, что каким-то образом пропустил нужную мне Воловью улицу и оказался значительно восточнее, чем следовало. Повернув назад, я взял левее и побежал, как мне казалось, в верном направлении. Миновав некую неузнаваемую в ночной тьме, немощеную и изрытую зловонными ямами улицу, застроенную тесно лепившимися друг к другу высокими, порой в восемь-десять этажей, деревянными и кирпичными строениями, чьи забранные железными решетками окна не оживлялись ни одним огоньком, я вышел к нимфею с безголовой статуей Посейдона. Почувствовав сильную жажду, я напился из нимфея холодной, несколько отдающей затхлостью водой и огляделся. Место, где я оказался, было мне совершенно незнакомо: вокруг теснились узкие фасады доходных домов с высоко поднятыми над землей и значительно выступающими вперед террасами; несколько в стороне виднелась церквушка — на ее куполе тускло серебрился в лунном свете большой, чуть покосившийся крест.

Куда же я забрел? Подойдя ближе к церкви и взглядевшись, я с удивлением узнал часовню святейшей Богородицы Мирелеон, где хранится ее мироточивый образ, писанный еще Лукой-евангелистом. Это значило, что я вновь сбился с пути.

Свернув в одну из южных арок между зданиями, я опять окунулся в паутину маленьких улочек, переулков и тупиков, стараясь держаться нужного мне направления. То и дело наткаясь в темноте на кучи нечистот и гниющих отходов, пытаюсь не обращать внимания на крадущиеся следом за мной по стенам домов тени и горящие в ночи красным огнем глаза бродячих псов, я — на этот раз медленно и осторожно — пробирался по хитросплетению мостовых Великого города.

Ни единой живой души не попадалось мне по пути. Улицы были пустынные и мертвы; кое-где в подворотнях виднелся мерцающий и колеблющийся свет редких фонарей, да изредка ночную тишину нарушал резкий лай собак, звук падающей с ветхих крыш черепицы и какие-то далекие и глухие вскрики.

Я спустился по довольно широкой каменной лестнице, завершающей очередную улицу, и попал в кривой, как сабля сарацина, проем между зданиями, который мне был слишком хорошо известен — это был крытый переулок Вона — место, куда даже днем не проникал ни единый луч солнца, место, где я не раз вкушал радости продажной любви. В тесных каморках его домов, почерневших от копоти постоянно горящих светильников, ютились только жиры порока и профессиональные нищие.

Однако переулок этот был еще дальше от моего дома, нежели площадь Маркиана и часовня Мирелеон, ибо, разветвляясь надвое, подобно букве «юпсилон», он одним своим рукавом выходил на Филадельфий близ форума Тавра, а вторым — на зловещий Амастрианский форум, место публичных казней.

Устав кружить в ночи, я вошел под его мрачные, озаренные красноватыми бликами висящих почти у каждой двери фонарей своды и побрел в сторону Месы. Вокруг меня беспорядочно металась причудливые, дрожащие тени, воздух был напитан зловонными испарениями, а слух оскорбляли доносящиеся из распахнутых окон звуки: чей-то хриплый смех, стоны поддельной страсти и пьяная брань. Впервые попав сюда ночью, я решил, что именно так и должен выглядеть Таргар.

Выйдя наконец на гранитные плиты Филадельфия, я невольно остановился, с особенным удовольствием после смрадной духоты переулка Вона вдыхая набегавший со стороны Золотого Рога легкий свежий ветерок и разглядывая залитый неверным лунным светом город.

Справа от меня мерцали купола храмов монастыря Христа Непостижимого и смутно чернел силуэт триумфальных ворот, знаменующих былую военную славу империи ромеев. Дальше, за воротами, простирался сейчас для меня невидимый, величественный и самый большой в городе форум Тавра, украшенный конными ста-

туями императора Феодосия Великого и сыновей его — Аркадия и Гонория, некогда поделивших между собой восточную и западную части Ромейской державы. Прямо передо мной высились сумрачные профили огромных арок главнейшего из акведуков Константинополя — водопровода императора Валента, забирающего прохладную живительную влагу с предгорий Фракии, чтобы доставить ее в мраморный нимфей форум Тавра. Все это был Месомфал — средостение Великого города.

Слева, где на Филадельфии теснились многочисленные эргастии мироваров, лавки парфюмеров и дрогистов, а ночной воздух был напоен густой смесью ароматов амбры, мускуса, алоэ, нарда, киннамона, бальзама и ладана, виднелся вход на Амастрианский форум. После некоторого раздумья, я повернул именно туда.

Когда бы я направился к Тавру, то с площади мог бы попасть как раз на Маврианову улицу и, пройдя мимо усыпальницы великомученика Фирса, выйти к Каменным Воротам, где уговорились встретиться мои друзья. Однако я уже решил не являться на эту встречу и желал только одного — поскорее добраться домой. Я помнил, что где-то в левой части Амастриана начинается та самая Волыня улица, которая должна была вывести меня к долине Ликоса, поэтому решительно зашагал к форуму.

V

Пройдя через темный проем арки императора Ираклия, я ступил на мощенную цветным мрамором прямоугольную площадь. Она была совершенно безлюдна и вся облита бледно-голубыми, словно расплавленное серебро, лучами ночного светила. Пока я шел к центру форума, гулкое эхо моих шагов, отразившись от его мраморной оправы, вспугнуло целую стаю нетопырей, которые вылетели из-под высоких каменных сводов и бесшумными черными молниями заметались над головами статуй и между причудливыми капителями колонн и пилястр, заставив меня невольно вскрикнуть от страха и неожиданности.

Форум по всему периметру был обрамлен сплошной стеной беломраморных портиков, колоннад и галерей, украшенных по верху бесчисленными языческими изваяниями, которые многие поколения автократоров и василевсов ромеев усердно собирали со всех пределов империи: из городов и храмов Италии, Азии, Элады и Африки. Множество самых разных идолов теснилось и на самой площади, крупнейшей из которых — всевидящий Гелиос в сверкающем венце — управлял квадратной вздыбивших копыта коней. На золотой колеснице, запряженной львами, с зубчатой, подобно башне, короной на голове, в окружении безумствующих корибантов и куретов мчалась мраморная Рея-Кибела — Великая Идейская мать богов или двуплая Агдитис, требующая от неопитов принесения ей в жертву собственной мужественности. Тут же рядом высились постаменты странных божеств Египта: посолового Анубиса, вставшего на задние лапы, внушающего ужас крокодила-Себека, таинственного Сераписа Птолемеев и двурогой Исиды с младенцем Гором на руках, оплакивающей своего мужа и брата, вечно умирающего и воскресающего Осириса. Распростертый на земле агонизирующий Геракл соседствовал с целым выводком злобных крылатых гарпий, чьи имена — Аэлла, Подагра, Аэллопа, Окипета и Келайно — указывали на происхождение их от стихий Мрака и Хаоса; Минотавр Астерий — ужасный плод противоестественной связи Пасифайи и быка — горделиво являл свой нечеловеческие стати, а по углам форума, на усеченных пирамидах из черного обсидиана свивали кольца четыре бронзовых дракона с раскрытыми в беззвучном рыке пастьями. Это были: чудовищный Дельфиний — страж древнего прорицалища Фемиды, многоглавый Тифон — исчадие Геи и Тартара, обвинившийся вкруг древа с золотыми яблоками Ладон и, наконец, порождение Ехидны и сестра Сфинкса — устрашающая крылатая Химера с головами льва, змея и козла.

Я остановился в центре площади около фиалы, сотворенной неизвестным мастером в виде гигантского мраморного змея Урабороса, кусающего собственный хвост, и стал высматривать проход на Волыню улицу, но не мог заметить ни малейшего просвета среди зданий. Решив, что во всем виновата ночь, скрадывающая привычные очертания предметов, я принялся вглядываться внимательнее. Тщетно! Необходимо было покинуть освещенный лунной участок форума и обследовать расположенные слева портики, однако что-то препятствовало мне двинуться с места и заняться поисками. Некий внутренний голос настойчиво предостерегал меня от этого шага: всей душой я внезапно ощутил неясную, но от этого не менее реальную опасность, таящуюся в недрах ступившейся под мраморными сводами темноты... Между тем в это самое мгновение странный шелестящий звук коснулся моего слуха. Казалось, тысячи каких-то маленьких существ шуршат там, в этих сумрачных обителях древних божеств! И хотя я совершенно никого не видел, но страх, подобно скользкой гадюке, уже заполз и поселился в моем сердце.

Боже! Боже! Как передать словами охватившие меня тогда чувства? Словно чья-то ледяная рука вдруг сжала мне горло — дыхание мое стало прерываться, члены отказывались слушаться, а воля — повиноваться разуму.

Странный шедест усиливался и становился похож на тихий глухой ропот морских волн, набегающих на пологий берег. Одновременно мне стало казаться, что тьма, клубящаяся под аркадами, массивными перекрытиями сводов и архитравами порталов, в глубине колоннад и галерей, покидает свои убежища и медленно, но неотвратимо вытекает на цветистый мрамор форума, подобно невиданному черному туману пожирая бледное серебро лунного света.

Обливаясь холодным потом, я замечал, как кольцо мрака, ползущего из своих прежних укryвищ, все более сужается, захватывая новые и новые оргии Амастриана. Позы окружающих меня идолов неуловимо менялись: головы божеств, демонов и чудовищ поворачивались ко мне, я чувствовал давящий взгляд их пустых глазниц! Крылья грифонов, гарпий и пышногрудых сирен слегка трепетали, драконы и василиски извивали свои змеиные тулова, и угольно-черные языки тьмы струились у их подножий!

Стремясь избавиться от ужасного наваждения, я плеснул себе в лицо водой из фиалы, но и прохладная влага не доставила мне облегчения и не рассеяла обступающих меня призраков. Прежний шелестящий звук стал походить на злобный шепот тысячи невидимых уст, мне чудились тихие зловещие голоса, повторяющие: *«Он наш! Он проклят! Стечет плоть его на землю, как вода, и станет неразличим весь его облик, и неприкаянный дух его будет вечно бродить по сумрачным стогнам Auga!»*

Вот словно глухой жалобный стон или вздох родился где-то в самой глубине ночи и пронесся над площадью, и тотчас следом — протяжный собачий вой, тихий безумный смех и горький безутешный плач послышались со всех сторон, потрясая остатки моего рассудка.

Не смея шевельнуть ни одним членом, я стоял в полнейшем оцепенении и наблюдал, как некая внушающая безотчетный ужас высокая женская фигура в ниспадающих до самой земли и, словно бы струящихся, длинных траурных одеждах выступила из тени и стала медленно приближаться ко мне. В высоко поднятой правой руке темным огнем пылал смоляной факел, и змеи с мерзким шипением дыбились над головою ее, подобно гигантским могильным червям клубясь и извиваясь в распущенных седых волосах. Как не узнать было сего морока: богиня мрака, призрачных видений и злобного кародейства — порождение Хтоноса, ночная охотница Геката, которую латиняне именовали Тривией — демоном трех дорог, поклоняясь ее кумирам на распутьях, перекрестках и среди могил, явилась моему взору в окружении своры черных псов с горящими кровавым огнем глазами! Две ее неизменные спутницы — Ата и Мания, божества помраченного разума и дикого безумия — с тихим смехом следовали за ней по пятам, и бесчисленный рой похищенных ими заблудших душ, похожих на нетопырей и ночных мотыльков, с жалобным писком и пугающим шелестом мириад крыльев кружил над их головами, образуя подобие уходящего в беспредельную вышину черного вихря.

Я ощущал, как душа моя вместе с дыханием стремится покинуть тело и слиться с этим бесконечным вихрем, как все мое существо жаждет сладостного забвения и покоя, даруемого безумием! Воля к жизни истекала из меня подобно живительной влаге из усыхающего источника Гиппокрены, рвались невидимые нити, связующие мою бессметную сущность с брэнной плотью, а в голове неумолчно звучал тихий вкрадчивый голос коварной Гекаты:

— Рагуйся, смертный! Час твой пришел, и ныне тебя повежу я в глубины Эреба! Путь наш лежит мимо смрадных устьев Аверна, через глубокие воды Эвнуй и Леты, в коих утонет несчастная память грехов и скорбей, что гнетут тебя долу. И мирское, и тварное — все без следа расточится в хладе Коцита и пламени жгучем Пирифлегетона. Там, в царстве бесплотных теней, в пустынной обители Дита, где недвижимы мутные омуты и Ахеронта, и Стикса, ждет нас начало пути во владения мудрого Орка и дальше, мимо Стигийских болот, где навсегда ты оставишь и скорбь, и грызущие сердце заботы, прямо к лугам Асфоделя, к блаженным полям Елисейским! Рагуйся, смертный! Ибо навек позабудешь ты страх, нищету, и позор, и невзгоды. Муки и тягостный труд не будут страшить тебя боле. Голод, болезнь и унылая старость уже до тебя не коснутся! Танатос-Смерть и брат его Сон на том обитают пороге, станут они навевать на тебя сонм сновидений приятных, коли ты верно будешь служить владыке Гадеса — Плутону!

Жалобный щебет мириад исторгнутых душ и радостный смех безумных божеств вторили словам Ночной охотницы. Черные псы, с кровавыми угольями вместо глаз, дыбили шерсть на горбатых загривках, щерили хищные пасти, истекая тягучей ядовитой слюною. Словно завороженный, недвижимо стоял я, не умея отвести

взгляд от зловещей хтонии. Лик ее был темен, и только глаза, в которых плескалось ненасытное пламя Аида, подобно двум ярким светильникам, пылали в лунном сумраке, впиваясь в мой разум, гася сознание...

Неожиданно страшное видение задрожало и стало меркнуть — шумные радостные возгласы «*Вах! Эвое!*» раздались с противоположной стороны форума! Стягивающие меня пути мгновенно исчезли, и, обернувшись, узрел я прекрасного обнаженного юношу, высокое чело которого было увито листьями винограда, а в руках сиял серебряный кратер.

Веселая толпа менад и бассарид, одетых в шкуры пятнистых оленей, подпоясанных задушенными гадами, с длинными спутанными волосами, потрясая увитыми плющом тирсами, в оргиастическом восторге следовала за ним. Это они столь шумно славили свое божество — плодоносящего и любвеобильного Диониса-Загрея, а непристойно льнувшие к ним козлоногие сатиры и безобразно возбужденные рогатые силены подвывали своим подружкам хриплыми пьяными голосами, потягивая вино из кожаных мехов.

И вновь услышал я обращенные ко мне слова, и лились они подобно елею и меду:

— *Сын человечесий, не слушай коварной Гекаты! Счастья себе не добудешь, спустившись в безвидный ты Тартар. Медной стеной огорожена мрачная пропасть Аида, трижды ее окружила своим покрывалом из тьмы порождение Хаоса — Никта. Нет, не покой и забвенья найдешь там, но горе и муки! Мерзкий Харон и ужасные дочери Стикса — Зависть, и Ревность, и Ненависть в той глубине обитают. Цербер трехглавый и боль приносящие Керы рвать станут тонкий эфир твоей стонущей в трепете тени. Страшная видом Мегера и орудье Гекаты — Эмпуза высосут кровь твоих жил и обглаживать примутся кости. Прочие твари Эреба — несытая Ламия, Граи — выедят чрево твое и пожрут твои сердце и печень! Сын человечесий, не слушай коварной Гекаты! Знай, что скорей обретишь ты забвенья, забудешь земные заботы, коли ко мне ты пристанешь, к моей вечно радостной свите. Чествуй меня возлияньями влаги пьянящей: соком лозы виноградной и семенем, данным богами, мой окропляй ты алтарь, ведь иной я не требую жертвы! Мигом умчатся тревоги, рассеются мрачные мысли — все сокрушает оковы дарованный мною напиток!*

Радостным смехом и возгласами веселя приветствовали слова Диониса его козлоногие и рогатые спутники, а полуобнаженные менады и бассарида в едином восторженном порыве взметнули высь увитые плющом тирсы и вновь вскричали в блаженном экстазе: «*Эван! Эвое!*»

Живительное тепло разлилось по моим жилам, и возбуждение распространилось по всем членам, в некоем забытии протянул я руки к пленительным призракам... Но что это? Образ юного прекрасного бога стал неожиданно таять, черты его как-то расплылись и обрюзгли, прекрасные волосы поредели, стройные члены искривились — и вот предо мной уже не юноша, но грузный старик с огромным выпирающим чревом, покрасневшим носом и слезящимися глазками, который едва стоит на дрожащих и заплетающихся ногах! Верная свита, издавая горестные вопли, подхватила под руки своего поблекшего кумира и повлекла его назад, в спасительную тень забвения. Но мрак еще не успел окончательно скрыть эту ужасную метаморфозу, как уже иное видение предстало моему взору.

Одинокая величавая фигура появилась в круге лунного света, и когда она приблизилась, я увидел, что это молодой муж. Был он безбород и светел ликом, сияние же очей его казалось подобным сиянию вечерней звезды. Гордо простерши ко мне руку, он заговорил:

— *Оставь позабытых богов! Их храмы давно опустели, и не дымятся кровию жертв алтари в них, не слышится пение мудрых фламинов и юных весталок, салии в плясках не славят Квирина и мощного Марса, авгуры уж не следят за полетами птиц, все кануло в Лету! Знай, благочестье не в том, что, в смиреннии ниц повергаясь, молишь униженно в храмах Творца ты иль нижешь обет на обеты. Но в созерцанье всего при полном спокойствии духа. Если как следует это поймешь, то природа иною сразу предстанет тебе, лишенной хозяев надменных. Руку лишь мне протяни и весь мир обретишь во владенье: дам тебе то я, что боле никто дать не в силах — власть и свободу! Собственной воле ты будешь обязан за все и, конечно же, дружбе со мною. Что же касается платы... это мы после обсудим...*

Отступив в страхе и недоумении, но исполненный сладкой отравой соблазна, я мысленно спросил сего духа, как имя его? И услышал в ответ:

— *Много имен у меня: Саммаэль, и Решев, и Нергал, и Хелен бен-сахар, и Пазузу... Греки когда-то Геспером меня величали, римляне — чтили меня как звезду, что сияет всех ярче... Я — Люцифер! Я — Князь мира сего и владыка Шеола! Руку скорей протяни, и заключим союз наш с тобою...*

И ум мой пришел в смятение, ибо был я всего лишь человек и не чувствовал

достаточной силы в сердце ответить, подобно Ему: «Отойди от меня!» — и велико было искушение, и взалкала гордыня моя земного величия, и зрил я уже все царства мира и всю славу их у своих ног, и мнил я себя подобным барсу, медведю и льву, и на голове моей уже сверкали десять диадем...

Вдруг гулкой удар потряс эфир, и низкий протяжный звук повис над городом — это проснулось медное било-симандра Святой Софии! И тотчас симандры сотен прочих храмов, базилик и часовен богохранимой столицы откликнулись и стали вторить ему радостным перезвоном, призывая православных и приветствуя первые лучи солнца, блеснувшие на востоке. Сливаясь в единый торжествующий хор, неслись звоны из церквей святой Анны и мученицы Зои в Девтероне, храмов во имя святых Иоанна, Николая и Георгия в Кикловии, мучеников Платона, Мокия, Агафоника, Фирса и Феклы — из разных концов города, дворцовых базилик Петра и Павла, Сергия и Вакха, часовен святого Лазаря и святого Марка и многих-многих других. А следом, немедля, с пронзительным криком, вспыхнув как пук соломы, в дыму и пламени исчез Люцифер, сгинул древний змий, называемый Дьяволом и Сатаной и обольщающий всю Вселенную!

Я же, осенив себя крестным знамением, без сил опустился на мраморные плиты проклятого Амастрианского форума.

VI

Сорок долгих лет минуло с той поры, но ни одной живой душе не смел поведать я об этих достойных удивления событиях. Ни один смертный не знает всей правды о том, что видел я ночной порой, стоя возле фиалы зловещего Амастриана, и, думаю, никогда не узнает при моей жизни. Ибо чувствую я, как с каждым мгновением стремительно сокращается срок моего земного бытия, как разрушается моя плоть и слабеет разум, так что навряд удастся мне окончить сию повесть до того, как Ангел Господень восхитит душу раба Божьего Феофила, навеки покинувшую тварную оболочку, и, уж конечно, читателей ее смогу я лицезреть лишь с горних высот и из-под сладостной сени кущ небесных.

И хотя дрожит уже стило в руке моей, а смертная пелена застилает глаза, заставляя строки на пергаменте расплываться, постараюсь я, сколь смогу, продлить повествование и рассказать вам, что стало со мной и другими после той исполненной соблазнительных видений ночи.

Итак, остановлюсь вначале на судьбе товарищей моих, ибо каждому из них была уготована своя, отличная от прочих доля.

Петр Трифиллий, счастливейший из них, продолжая подвизаться в финансовом ведомстве, в скором времени был почтен саном спафария, а спустя девять лет, когда начальник и покровитель его — логофет геникона Никифор попущением Божиим и неисповедимыми судьбами, по множеству грехов наших, сверг с престола благочестивейшую августу Ирину и был венчан в святой Софии патриархом Тарасием на царство, достиг званий логофета стратиотской казны и хартулария сакеллы, стал патрикием и главой-парадинастевонтом императорского Синклита. После смерти Никифора Геника — бессменно служил в той же должности императорам Михаилу Рангаве, Льву Армянину и Михаилу Травлу, покуда не помер из-за внезапного прилива крови к голове, опрометчиво помывшись в бане сразу вслед за обильной трапезой.

Григорий Камулиан, сын патрикия Феодора, также недолго пребывал в безвестности, ибо, приглянувшись своей красотой государю Никифору Генику, был приближен им к себе, удостоен сана дисипата и положения личного секретаря-мистика при особе императора, однако вскоре после гибели сего монарха оказался в опале, подвергся ослеплению, урезанию языка и окончил свои дни в заточении.

Проексим Николай Воила храбро и успешно воевал в Венецианском дукате, когда правитель онго попытался отложиться от Ромейской империи и предаться архонту Италии Пипину, дослужился до звания стратига Сицилии и спустя несколько лет погиб в сражении с франками за Далмацию и Истрию.

Кто о них помнит ныне, кроме меня?

Арсафий Мономах единственный из них жив и здравствует по сию пору, но пути и дела его скрыты от нас, простых смертных, ибо, то пребывая в качестве посла-василика при дворах различных европейских властителей, то выполняя иные тайные поручения венценосцев в отдаленных частях нашей империи, он постоянно окутан некоей тайной — неизменной спутницей большой политики и стремится держаться в тени.

Увы! Так проходит слава земная! Что остается от человека в этом мире после неизбежного физического распада? Только щепотка праха и недолговечная память немногих знавших его. Стоит ли такая малость тех воистину титанических усилий, кои мы прилагаем в своем неумном стремлении к власти, известности и почестям?

Сказано: нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.

В юности, во времена моей прежней увлеченности халдейской премудростью и астрологией, я свято верил в учение древних о том, что ежели, к примеру, луна находится в период восхождения Пса в знаке Льва, то будет большой урожай хлеба, оливкового масла, вина, все будет дешево. Случатся смуты и убийства, воцарение нового императора, мягкая погода, набегі племен друг на друга, землетрясения и наводнения. Когда же луна в это время в знаке Девы, то выпадет много дождей, будет веселье, смерть рожениц, дешевизна рабов и скота. Если же Пес взойдет, когда луна в знаке Козерога или, хуже того, Скорпиона, то жди передвижения войск, смуты среди священства, множества казней, мора на пчел, нашествия саранчи, засухи, голода и чумы.

Я не подвергал ни малейшему сомнению слова Зороастра, рекомендующего тщательно наблюдать, в каком доме Зодиака находится луна, когда гремит первый в году гром, ибо если оный ударит во время ее нахождения в знаке Овна, то это предвещает, что в сей местности люди будут сходиться с ума, но придет погибель на арабов, в царском дворце случится радость, в восточных же областях — насилия и голод. Случись же ему прогреметь, когда она пребывает в знаке Девы, то неминуемы заговоры властителей против императора, обрушится на него хула и непристойное пустословие, с востока появится другой император, который завладеет всей Вселенной, будет изобилие плодов, смерть прославленных мужей и прибыль овец.

Ныне же, с высоты прожитых лет, я полагаю, что звездам мало дела до нас и наших скорбей и радостей. Что Плеядам или Ориону до урожая маслин в Ливии или Киликии? Как их могут трогать судьбы свинопаса или препозита священной спальни? Мириады людей успели родиться и умереть, а вечные светила по-прежнему на своих местах, движение их подчинено лишь воле и закону Создателя и никак не соотносено с нашими жалкими делами и помыслами. Сказано: что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и ничего нет нового под солнцем.

Но вернусь к своей повести. Сразу после той памятной ночи решил я отрясти мирской прах с ног своих и всецело посвятить остаток жизни деятельному раскаянию, сиречь служению Господу нашему Иисусу Христу. Распродав имения и обратив все имущество в звонкую монету, принялся я подыскивать монастырь или киновию, где бы возможно было поселиться и предаться умерщвлению плоти и молитвам о спасении души.

Первоначально, исполнившись смирения, вступил я под гостеприимный кров монастыря Пиги — Живоносного источника, в особенности прельстившего меня уединенностью своего местоположения, ибо находится он за стеной Феодосия, то есть вне городской суеты. Все здесь вполне соответствовало, на мой взгляд, святости места: густая кипарисовая роща, луг с мягкой землей, покрытый яркими цветами, сад, в изобилии приносящий плоды всякого времени года, и сам источник, спокойно бьющий из глубины земли чистой и вкусной водою.

Приняв после трехмесячного послушничества постриг, я прожил здесь семь лет.

Принужден, однако, сказать, что бытие сей обители оказалось на поверку весьма далеким от того идеала, который рисовался мне в воображении и к которому стремилось мое сердце. Населявшие его иноки (числом до семидесяти) более уделяли внимания ежедневным телесным трудам в саду и поле, чем посту и молитве, и сильнее озабочены были удовлетворением нужд физических, нежели нравственным совершенствованием собственных душ.

В монастыре имелись скрипторий и довольно обширная библиотека. Но что за книги хранились в этой библиотеке и переписывались братьями в скриптории! Все те сочинения, которые Феодор Присциан рекомендовал в свое время в качестве подбадривающего и возбуждающего средства страдающим любовной немощью, теснились на полках доступного всякому хранилища: сладостно написанные повести Филиппа из Амфиполиса, Геродиана, Ямвлиха и сравнительно невинных Харитона, Ахилла Тагия, Гелиодора и Ксенофонта Эфесского соседствовали с нескромными «Милетскими сказаниями» Аристида и непристойными измышлениями Апулея и Петрония. Мог ли подобный подбор книг содействовать заботам об укрощении плоти?

Усугублению соблазна способствовало и проживание в обители большого числа безбородых отроков и евнухов, как принятых туда для исполнения различного рода подсобных работ, так и находящихся в услужении у отдельных иноков. Кроме того, значительное количество мальчиков постоянно пребывало при начальнике скриптории для обучения грамоте, Псалтыри и литургической премудрости. Удивительно ли после сего то распространение скоромного зла, проявлениям коего я не однажды сам был невольным очевидцем во время еженедельных посещений монастырских терм?

Все это весьма тяготило и смущало меня до того, что иной раз на целые месяцы

затворялся я в своей келии, пытаюсь уподобиться тем анахоретам и святым подвижникам, которые искали спасения в уединении и помощи в борьбе с плотью и греховными страстями в отшельничестве. Однако и такие меры не вполне уберегали меня от соблазнительных мук плотского искушения, ибо, сколь ни старался, никак не мог я достичь святости тех прославленных мужей, что и среди обнаженных блудниц и блудодеев имели силу ощущать себя словно бесчувственное полено среди поленьев.

Потому-то, едва прослышав о духовных подвигах и похвальном религиозном рвении славного игумена Феодора, который как раз в то время покинул Саккудион и, обособившись в столичном Студийском монастыре, занялся преобразованием одного в образцовую общежительную киновию, я тотчас поспешил перейти в эту обитель, где и пребываю по сию пору и надеюсь окончить свои земные дни.

VII

Порядок строгой и воздержанной жизни, установленный игуменом Феодором Студитом, был особенно суров по сравнению с тем, к которому я привык в монастыре Пиги. Достаточно сказать, что употребления мяса всем инокам было совершенно запрещено, кроме дней, на которые приходились великие праздники. Также во весь период от Пасхи до Пятидесятницы служители подавали нам лишь хлеб, вареные овощи, тушеные с оливковым маслом бобы, густой суп из трески, сыр и яйца. Запивать все это позволялось тремя чашами настоящего на травах вина. То же полагалось и к вечерней трапезе. Во время поста воздержание бывало еще строже, ибо пищу мы вкушали только раз в день и то самую скудную: чечевичную похлебку, соленую рыбу без масла, измельченные орехи и, изредка, сушеные фиги, запивая трапезу несколькими чашами анисового вина, с добавлением тмина и перца.

Игумен ревностно заботился о безусловном соблюдении отеческих преданий и древних уставов святых Пахомия и Василия Великих. И это выражалось не только в том, что самим монахам не позволялось без особой нужды выходить в мир, но также и в том, что проход за ограду обители был строжайше запрещен не одним лишь особам женского пола, но и всякому безбородому: будь то отрок или евнух. Даже спать нам было предписано настоятелем в одной общей спальне, дабы при постоянном общении менее совершенные из нас могли подражать более совершенным и все были явны всем.

Занимаясь большей частью молитвой и чтением божественных писаний, часы которых бывали правильно и точно распределены, все мы не пренебрегали и физическими трудами. Но и во время работ по хозяйству или занятий какими-либо ремеслами никто из братьев не прекращал молитвы, ибо она — самый благоуханный и приятный для Господа фимиам. Когда же кто-то из иноков принужден был с дозволения игумена выйти из монастыря, так должен был соблюдать приличествующую ему скромность, не говорить лишнего, не поднимать глаз, особенно при встрече с женщинами, но идти с молитвой и с опущенными долу взорами.

Прочтя это, вы поймете, сколь тяжек крест, который я добровольно взвалил себе на плечи ради очищения духовного. И если, став спустя двадцать шесть лет сам настоятелем сей знаменитой киновии, я предоставил братьям некоторое небольшое послабление в потреблении вина и мяса, так это объясняется лишь явной чрезмерностью подобной строгости для большинства из них, ибо недостаток сих продуктов пагубно действует на здоровье и разум, необходимые для еженощных молитвенных бдений и подвигов благочестия.

Между тем демон похоти ни на миг не оставлял меня и в Студийской обители, отравляя не только мои ночные часы, но и являясь с присущей ему наглостью даже во время молитвы в храме. Чаще всего он принимал облик нагой женщины соблазнительно распутного вида, которая призывными знаками и недвусмысленными движениями тела (в особенности, бедер) старалась уловить мою душу в сети греха. Впрочем, иногда он предстал в ином образе. Так, раз я встретил его в трапезной под личиной некоего гермафродита, безобразно сочетавшего в себе признаки женского и мужского естества (и только прочитав «Трисвятое» и приглядевшись, я узнал в сем чуде нашего смиренного отца-эконома). Не однажды блудливо подмигивал он мне из пламени горящих лампад и светильников, многократно похотливо ухмылялся со святых ликов, а как-то на Троицу пробрался на мое непорочное ложе и всю ночь терзал меня отвратительными ласками, так что спавший со мною рядом инок Пафнутий, разбуженный моими стонами, решил было, что в соседа его вселился дьявол!

Не умолчу и об ином, едва ли не страшнейшем, искушении, постигшем меня на девятом году пребывания в сей киновии. Случилось это осенью, аккурат в канун дня святого Димитрия Фессалоникийского, когда вся братия с большим усердием готовилась к предстоящей всенощной, стремясь очистить душу и помыслы своей от малейшей

скверны и наималейшего нечестия. Перед самой службой уединился я с той же целью в малой келии и предался благодатной молитве, простершись ниц пред пречистым образом Пантократора, умиленно прося Господа ниспослать мне покой и избавление от злобных искусов отца лжи и обмана. И вот, едва я воззвал к Творцу всего и вперил очи свои в Неисповедимое, как постигла меня странная немочь и расслабление необыкновенное, так что я даже пал ниц и забылся в странном беспамятстве, самую смерть напоминаящем: члены мои одеревенели, язык онемел, и сознание, казалось, едва продолжало теплиться в сем убогом подобии образа Божия. Однако же я знал, что жив, ибо чувства мои, напротив, чрезвычайно обострились, а самый дух словно бы воспарил в некие сияющие горные высоты!

Казалось мне, что, словно поднятый невидимыми крылами, вознесся я над лазурными волнами Пропонтиды, и потоки ветров повлекли меня на север. Бесчисленные острова Мраморного моря промелькнули подо мной в предрассветных сумерках и исчезли, и вот наконец сам дивный город — величественный Константинополь — явился моему взору как бы с высоты полета птицы.

Сумеет ли язык мой описать все великолепие представшего передо мной царственного града — богохранимой и богоохраняемой царицы городов, солнца всей империи, сияющего богатством и славою!

Ибо один только и есть на свете такой горделивый град, око Земного круга, блистательная звезда и украшение Вселенной, светильник мира и общая пристань веры. Город, выдающийся преславным синклитом и множеством мудрых мужей, где процветают состязания наук и образцы всех добродетелей, величие и красота храмов, драгоценных облачений и утвари, торжественность божественных служб.

Где еще, в каких частях Востока и Запада возможно сыскать подобный ему? Какой из городов сравнится с сим Новым Римом — высшей опорой и средоточием православия, столицей Ромейской державы, о которой возносит ежедневные моления Церковь!

О счастливейшая из митрополий Земли! О Новый Иерусалим, из которого исходит все прекраснейшее, все спасительное и все благое, в коем василевсы самовластно царствуют и скипетры самодержавной власти самодержавно содержат! Ты единый осенен спасительным омофором Пресвятой Богородицы и храним Ею от всех недругов, ибо никогда еще не были поруганы неприятелем твоим великолепные церкви и мраморные дворцы, и не раз полчища разноплеменных варваров в ужасе отступали вспять, едва завидев три ряда стен и полтысячи башен Константинова града.

Подобно сказочной жемчужине, блистаешь ты в оправе голубого моря и изумрудных рощ, окаймляющих береговые бухты. И не единожды я слышал из уст варваров, что, не увидев собственными глазами, едва ли возможно поверить, будто может существовать на свете столь богатый город — верховный над всеми!

Пять больших и пять малых ворот ведут со стороны суши внутрь столицы. Каждые из этих ворот сами представляют собой неприступную крепость: защищенные мощными восьмиугольными башнями, глубокими, обложенными камнем и наполненными водой рвами... Да впрочем, возможна ли самая мысль о взятии Вечного города?

Но что это? Отчего видение вдруг совершенно и столь страшно изменилось? Царственный город от Влахерн до Кикловия, от Золотых ворот до врат Ксилопорта обложен бесчисленной неприятельской ратью, Золотой рог, подобно рыбному садку, кишит вражескими дромонами, и вся Фракия содрогается от тяжелой поступи иноплеменных полчищ, от грохота и скрипа влекомых быками повозок! Да и самый город являет собой разительную картину опустошения: некогда неприступные стены со стороны суши проломлены во многих местах, четыре башни в долине Ликоса разрушены совершенно и наспех заделаны мешками с песком и бревнами, ворота святого Романа лежат в руинах...

Рассвет еще не занялся, и первые лучи солнца еще не позолотили крест на святой Софии, но было заметно, что стоит самое начало весны: я чувствовал, что Босфор едва успел утихнуть после неистовых зимних штормов, а из городских садов уже доносился сладкий аромат зацветших фруктовых деревьев. Из темнеющих кущ слышались соловьиные трели, и в небе тянулись караваны перелетных птиц, направляющиеся к летним гнездовьям на далеком севере... Близилось раннее, туманное утро... В этот самый момент пение петухов раздалось из дворов, пронеслось из улицы в улицу и достигло неприятельского стана. Вдруг ужасный грохот потряс воздух и пробудил эхо на далеком пространстве. С замирающим грохотом смешались воинственные крики, исторгнутые мириадами уст, черные толпы всколыхнулись и под оглушающий бой барабанов, звон цимбал и вой боевых рогов ринулись на приступ!

Трепет объял меня, когда я увидел, как первые ряды варваров проворно соскользнули в ров и принялись поспешно ставить тысячи лестниц к стенам и с воплями бросаться в многочисленные бреши. Ужасно было наблюдать при бледном

предутреннем свете луны эти густые колонны, которые подобно яростным волнам разбивались о стены, подавались назад и, гонимые нещадными ударами плетей и дубин, опять, с новой силой еще выше взлетали по лестницам. Малочисленные защитники с мужеством отчаяния бились в проломах, метали со стен в густые толпы осаждающих град камней, стрел и широкие струи убийственного греческого огня, но враги вновь и вновь, не считаясь с огромными потерями, под дикую призывную музыку труб и грохот барабанов бросались на стены и заграждения, карабкались на плечи друг друга, тщась зацепиться лестницами за верхние зубцы протейхизмы и взобраться по ним наверх. В мечущихся отблесках факелов, в клубах дыма, то и дело заволакивавших все вокруг, трудно было разобратить, что происходит. Но вот некое неподдающееся описанию, огромное и сверкающее бронзой чудовище, что высилось посреди неприятельского стана, издало громopodobный звериный рык, извергло из пасти устрашающую струю огня и дыма, и тотчас несколько стадий наружной стены близ ворот святого Романа обратились в прах, а в воздух поднялась целая туча камней и пыли! Густые толпы варваров тут же ринулись в этот новый пролом и с победными криками ворвались в пределы города.

Я мнил уже, что все кончено, как вдруг навстречу им устремилась горстка ромеев под предводительством воина, в коем по накинутому поверх лат пурпурному сагиону можно было узнать императора. И вновь враги были отброшены в ров, а христиане, подбадривая друг друга радостными возгласами и сплотившись вокруг императора, принялись в спешке восстанавливать разрушенные укрепления. Однако прежде чем они успели хоть что-то поправить, град камней, стрел и прочих метательных снарядов обрушился на них, а следом показали и, сопровождаемые дикими завываниями боевой музыки, немедленно двинулись на штурм новые, еще более многочисленные колонны варваров...

Тут зрение мое чудесным образом как будто раздвоилось и в то время, как перед глазами у меня по-прежнему продолжался этот неравный бой, я неожиданно увидел, как в самом углу Влахернской стены, там, где она соединяется с двойной стеной Феодосия, открывается маленькая потайная дверца, расположенная почти на одном уровне со дном рва, и в нее один за другим проникают варварские воины. И вот уже, перебив немногочисленную стражу, подобно пчелиному рою облепляют они ближайшую башню и выставляют на ней копьё с конским хвостом. Неистовыми воплями восторга тотчас огласился весь неприятельский стан, и вскоре уже целые толпы супостатов хлынули в город через роковые ворота и, устлая свой путь трупами, подобно реке в половодье, принялись растекаться по улицам!

Картины, одна страшней другой, замелькали у меня перед глазами с быстротой необыкновенной: вот император, вскочив на коня, бросается с мечом в руке в гущу варваров и исчезает в массах захлестнувших его орд! Вот тысячи полуодетых женщин и детей бегут по улицам, как будто случилось вдруг землетрясение, лишило их крова и свело с ума от страха. Крики ужаса и вопли отчаяния несчастных христиан несутся к небу, мешаясь с восторженными криками нечестивых победителей, которые, не насытившись еще боем и не утолив жажду убийства, ровно скот режут всех подряд, так что вскоре уже целые потоки крови струятся по крутым улицам Константинополя и широкими ручьями низвергаются с холмов Петры в Золотой Рог! Черными столбами возносятся ввысь густой дым от сжигаемых монастырских библиотек и храмовых святиль...

Внезапно я оказался около Харисийских ворот, и взору моему явилось очередное видение: варварский стратиг на белом сарацинском скакуне, в сопровождении надменных архонтов и рослых телохранителей торжественно вступал в завоеванный город. Медленно, в полном молчании проехал он по залитым кровью улицам поверженного Константинова града, остановил коня на Августеоне и, спешившись пред самыми воротами святой Софии, неторопливо ступил в поруванный храм.

Невидимый для окружающих следовал я за ним, пытливо вглядываясь в облик сего воителя, ибо казался он мне смутно знакомым: голова его была покрыта большим тюрбаном, закрывающим лоб до высоких дуг бровей, под которыми выделялись глаза с пронзительным взором и тонкий, крючковатый нос, нависающий над полными, яркими губами сластолюбца. Черты лица его напомнили мне почему-то попугая, приготовившегося клевать спелую вишню.

С трепетом и отвращением к творимому святотатству наблюдал я, как взошел он на амвон Великой Церкви и, схватившись за раздвоенную бороду свою, принялся что-то бормотать на незнакомом мне варварском наречии, несомненно, вознося великую хулу на Господа! И в сей же миг, будто пораженный отравленной стрелой, в великом страхе отшатнулся я прочь, ибо вдруг узнал в оном святотатце того самого нечестивого сына пустыни из недоброй памяти фускарии Домна!

Да, несомненно, это был тот самый агарянин: все те же сверкающие нестерпимым

алым огнем глаза, тот же похожий на клюв хищной птицы нос... Нет, вовсе не на попугая походил он, но на стервятника, лакомящегося мертвечиной!

Неожиданно пылающий адовым пламенем взор его обратился прямо на меня, кровавые губы раздвинулись, острые зубы хищника ощерились в жуткой ухмылке, и, простерши ко мне руку с унизанными дорогими перстнями пальцами, он заговорил. Голос же его был подобен рычанию зверя, шипению змеи и карканью ворона:

— Смотри, монах! Смотри на сей Вавилон, одетый некогда в виссон, порфиру и багряницу, украшенный золотом, камнями драгоценными и жемчугом. Видишь дым от пожаров? Слышишь сей плач и стоны, эти вопли и стенания? Знай же, пройдет еще шестьсот и пятьдесят лет и переполнится мера терпения твоего Господа! И исполнится все виденное тобою ныне, и падет великий град, царствующий над земными царями, падет и навеки соделается жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу! Так возрыдай же, монах, с плачем ударяя себя по бедрам, ибо наострен уже меч Востока на заклание ромеев и вычищен для истребления христиан!

В безмолвном ужасе внимал я словам сего беззаконного создания, ибо язык мой словно прилип к гортани. Все так же усмехаясь, глядел он на меня, а затем заговорил вновь, но голос его был теперь как будто полон жалости и сострадания:

— А сейчас скажи, монах, готов ли ты ныне за спасение сего града отдать мне нечто уже некогда обещанное тобой? Дабы не наступило время его и не был бы он отдан на посмеяние народам и на поругание всем землям, а голова последнего василевса не красовалась бы на вершине порфирной колонны форума Августеон? Знай, в моих силах продлить славу империи до конца времен! Или мнишь ты, что все оное недостойно твоего спасения? Такова ли гордыня твоя? Ответь мне, монах!

Вострепетав в сметном страхе, с отвращением отпрянул я от коварного искусителя, троекратно осенив себя крестным знаменем, он же засмеялся злобно и произнес нечто загадочное:

— Да будет так! И пусть паук плетет свои тенета в палатах кесарей и сова несет дозор под сводами Афрасиаба!

И едва отзвучали эти таинственные слова, как образ демонического воителя стал меркнуть, само видение затуманилось, будто подернувшись кисейной пеленой, а затем и исчезло вовсе, я же вновь оказался пред образом Пантократора в малой келии нашего монастыря.

Неудивительно, что разум мой был смятен до крайности сим мороком. Сомнения тяжким грузом легли мне на сердце и смугили дух. Однако, поразмыслив, я понял, что отнюдь не божественное вдохновение посетило меня, но, напротив, диавол вновь пытается уловить меня в свои сети, добываясь заполучить мою бессмертную душу, насылая подобные искусы и помрачения рассудка.

Означенные напасти побудили меня умножить усилия, направленные на спасение души, и перво-наперво обратился я за духовной помощью и поддержкой к игумену Феодору, без утайки поведав ему на исповеди, как своему наставнику, о терзающих меня бесовских искушениях. Преподобный внимательно выслушал меня и сказал следующее:

— Мужайся, сын мой! Полагаю, велики прегрешения, совершенные тобой в мирской жизни, что столь яростно нападает на тебя враг рода человеческого. Потому беги всех суетных удовольствий и самих помыслов об оных. Помни, что распевающих песни Господь считает визжащими свиньями, а кифаредов — инструментами сатаны, на беспутных флейтисток и пляшущих женщин смотрит, как на Иродиаду, на блудниц — как на коз смердящих, а на юнцов, которые погрязли в игрищах, насмешках, кривлянии и пьянстве, — как на нечистых земных пресмыкающихся, зверей и порождений Ехидны. Чуждаясь всего этого, ты прославляешь Господа, потакая сим порокам или даже просто, будучи безучастным, наблюдая за оными — кадишь Велиалу!

— Как же мне избавиться от пагубных искусов, — спросила почтенного настоятеля, — когда ни пост, ни молитва не могут вовсе изгнать наваждений, насылаемых на меня отцом лжи и обмана?

— Что ж, — отвечал Феодор Студит, — есть и иные пути, ведущие к просветлению души и приближающие к Божеству. Испытай их. Многие из известных мне иноков и подвижников Божьих совершали и совершают дело своего спасения самыми разнообразными подвигами. Есть среди них такие, что называют себя *нагими* и вместе с одеждой отвергают всякую заботу о теле; есть *не заботящиеся о волосах*, ибо полагают это мирской роскошью и изнеженностью; имеются *спящие на голой земле*, о которых один из мудрецов сказал, что хотя они спят весьма низменно, но стремятся к самому возвышенному; *босые*, не носящие обувь в продолжении целого года; *грязные*, внешне покрытые грязью, однако чистые сердцем; *не моющиеся* или *не моющиеся* — славные не молчанием, но прославлением; *безмолвники* или *исихасты*, стремящиеся

к успокоению от всех забот и сует мирских и посвятившие себя самому строгому уединению; *пещерники*, которые, ютясь в горах и расщелинах земли, обнаруживают всю глубину духовного созерцания; *налагающие на себя железные вериги* и называющиеся вооруженными воинами Божьими; *погребенные в аскетизме*, из которых одни совершенно зарывают себя в землю, приближаясь тем самым к настоящему погребению, другие заключаются в весьма тесные келии и именуются *затворниками*, третьи подвизаются на столпах и потому называются *столпниками* — орлами, парящими в превыспренных сферах, для коих столп есть маяк спасения, арена борьбы для непобедимого атлета, лестница духовная и жилище для тех, пищей которым служит небесный эфир, а наслаждением — лучи божественного света и пребывание в постоянном общении с Богом. Иные из монахов прославляются подвигом *стояния*. Так, знаком я с одной инокиней из монастыря Хрисоволанта, что, простерши руки к небу и тихо творя молитву, иногда *простаивала* в этом положении недвижимо целую неделю, так что после не могла уже собственными усилиями опустить вниз руки и нуждалась в помощи сестер. Когда же те делали это, то явственно слышно было, как члены сей подвижницы издают страшный треск. Избери же, чадо мое, духовное упражнение себе по сердцу и по силам и дерзай на спасительных путях, ведущих к Свету Истинному! Но, прежде всего, стань смиренным пред стопами Спасителя, чтобы и Он сам, борясь за тебя, победил воинственного плотского демона и чтобы тебе была присуждена победа: ведь Господь противодействует высокомерным, смиренным же дает благодать.

Долго еще продолжалась эта душеполезная беседа с отцом настоятелем. Преподобный поведал мне о монахах, чье благочестие выражается в сидении на деревьях и о тех, которые поселяются близ жилищ блудниц или даже в самих домах разврата, дабы, претерпевая побои и всяческие унижения, ежечасно обличать и оных дочерей погибели, и несчастных, что ходят к ним. Рассказал он мне и о тех, которые именуются странниками и всю жизнь свою, по примеру святителя Арсения, проводят в беспрестанных переходах от одного места к другому, нигде не задерживаясь и не останавливаясь. Упомянул об истовом в деле веры иноке Акакии, который, специально обучившись скорняжному делу, поселился в Пере, близ жидовского квартала и, стараясь всячески досадить врагам Сына Человеческого — ненавистным иудеям, спускал к их домам вонючую жидкость и грязные отбросы своего ремесла. Наконец не умолчал почтенный отец Феодор и об юродивых Христа ради, чей подвиг почитается среди подвижников одним из труднейших, ибо оные юроды не только отказываются от всех удобств земной жизни и ее дозволенных благ, но совершенно отрекаются от обычного пользования разумом, осуждая себя на добровольное и совершенное безумие, почему кажутся всем окружающим людьми жалкими в умственном отношении и достойными сожаления за душевное уродство и болезнь их. Между тем, в действительности под маской безумия служат они Богу, стремясь своей жизнью оправдать слова апостола Павла: «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым» и «немудрое Божие премудрее человеков».

Сии наставления духовного отца моего преподобного Феодора Студита отнюдь не оставили меня безучастным, но, напротив, заставили задуматься, какой же путь спасения из названных им более мне подходит и должен быть мною избран. После длительных колебаний обратился я наконец к учению исихастов, привлекающему меня одновременно строгим аскетизмом и тем, что для следования ему не нужно было ни покидать стены монастыря и отдаляться от пастырского радения его настоятеля, ни следовать некоторым нечистоплотным, по моему разумению, обычаям.

С этого времени, вполне отдалившись от мира, затворился я в строгом уединении тесной келии, где божественная медитация, внутренняя молитва и ненарушимое молчание стали моим делом.

Спустя три года, проведенные мною в таковых духовных упражнениях, я с превеликой радостью возблагодарил Господа, ибо почувствовал, что бесовское наваждение почти вовсе оставило меня и всеразличные демоны прекратили то и дело являться на мои глаза, разжигая низменную чувственность, пагубные вожеления и неуместную для инока гордыню. Воистину нет предела милосердию Божьему к покорным воле Его и послушным велениям Его!

Тебе же, читающему сию повесть, коли ты страдаешь от подобных напастей или желаешь совершенства духовного, могу посоветовать следующий чудесный способ, которому я научился за годы своего уединенного безмолвничества: заперев двери, сядь в углу келии твоей и отвлеки мысль твою от всего земного, тленного и скоропреходящего. Потом положи подбородок на грудь свою и устреми чувственное и душевное око на собственный пупок. Далее, сожми обе ноздри так, чтобы едва можно было дышать, и отыщи глазами приблизительно то место сердца, где сосредоточены все душевные способности. Сначала ты ничего не увидишь сквозь свое тело, но

когда ты проведешь в таком положении день и ночь, а затем еще два дня и две ночи, то — о, чудо! — ты увидишь весьма ясно, что вокруг твоего сердца распространяется божественный свет!

Это — начало пути, который должно совершать в страхе и истине, непрестанно укрощая свое тело с помощью поста, облачась, как в далматику, в смирение и сияя от радости в молитвах. При этом будь незлобивым, незаносчивым, не суди, не порицай и не злословь!

Крепка моя надежда на то, что спасение — в благочестии, а его же можно достичь, став сострадательным, возлюбя бедность, отшельничество, поощряя молчание, стойкость в воздержании, постоянство в уничижении, и тогда возвеличит тебя щедрый Господь пред ликом всех своих святых.

Верую я, что, как и возвестил нам в своем откровении святой Афанасий, каждый благочестивый инок после смерти будет восхищен к Господу и Престолу Его, где даруются ему шесть белоснежных крыл, покрытых очами, и станет он в облике светозарного серафима, стоя одесную Владыки среди неисчислимого небесного воинства ангелов, начал, сил, властей, престолов и господств Его, вечно воздавать хвалу единому Творцу всего сущего!

Благочестивым же, говоря правду, вполне могу именоваться, ибо ныне я воистину нищ духом, сокрушен сердцем и вот уже сорок лет, как печалюсь и скорбю о бывших грехах своих, чуждаюсь вражды, гнева, зависти, тщеславия, самонадеянности, чревоугодия, гордыни, распутства, содомии, скотоложства, рукоблудия и, наипаче, всепоглощающего пьянства (за что в особенности приходит гнев Божий на сынов противления)!

Знаю я — расточится, как снег под солнцем, предсказание ужасного Тельхина, ибо нет уже над рабом Божиим Феофилом власти тех демонов, что явились ему ночной порой сорок лет назад на проклятом Амастрианском форуме...

Ведомо мне... Но слабеет рука моя, меркнет разум, как огонь в светильнике, в коем закончилось масло... Странные тени бродят по стенам моей кельи... то, верно, зрение подводит меня...

Близок конец... гордой радостью и предвкушением грядущего блаженства наполняется мое сердце... Гряди, Господи! Се раб Твой! Вот он — я — пред лицом Твоим!

Уже скоро... Чувствую, как разрушается тленная плоть моя, как замирает ток крови по жилам, путаются мысли... медленно угасает сознание... Постой, Господи! Дай увидеть все своими глазами... Позволь воочию узреть Ангела Твоего, коего пошлешь за мной!

Вон там... в самом углу келии, под образом Пречистой... Ей, Господи! То — Твой горный посланник! Вижу, вижу, как появляется он в дрожащем свете лампы... Но отчего он черен, будто эфиоп?... Почему глаза его горят подобно угольям, из ноздрей валит дым, а рот изрыгает пламя?... Зачем в ушах моих звучит этот дьявольский хохот... и словно могильные черви заживо гложут мое тело!.. И снова эти ужасные слова: *«И стечет плоть его на землю, как вода, и станет неразличим весь его облик, и разрушатся и распадутся все его сочленения, и кости его осыплются в преисподнюю!»*

...крылья его подобны крыльям нетопыря... и эти рога... Боже! Боже мой! Для чего Ты оставил меня?..

* * *

*На этом обрывается рукопись преп. Феофила Мелиссина,
игумена Студийской обители.*